

An abstract painting featuring a series of figures, possibly soldiers or workers, with their arms outstretched horizontally. The figures are rendered in a painterly, somewhat blurred style. The color palette is dominated by a bright red at the top, which transitions into dark, almost black, and then into a lighter, greyish-blue at the bottom. The overall composition suggests a sense of movement and a somber or dramatic atmosphere.

ИРИНА БАТАКОВА

БЕЛЫЙ
КРАСНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
СЕРЫЙ

Ирина Батакова

Белый, красный, черный, серый

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54968592

Белый, красный, черный, серый: Русский Гулливер; Центр современной литературы; Москва; 2020

ISBN 978-5-91627-235-2

Аннотация

Россия, 2061-й. Два непересекающихся мира: богатая хайтековская Москва – закрытый мегаполис для бессмертных, живущих под «линзой» спецслужб, и Зона Светляков – бедная, патриархальная окраина, где жизнь течет по церковному календарю.

Главные герои – 90-летний старик и 16-летняя девочка. Он – московский профессор, научный гений, который пытается разгадать тайны человеческого мозга, она – случайная жертва его эксперимента. Но жертвой оказывается сам экспериментатор.

Содержание

1. Письмо	5
2. Луч Правды	10
3. В гостях у сказки	21
4. Белые кляксы	28
5. Молодильное яблоко	37
6. Ветер, намеченный грубой кистью	42
7. Хаканарх	52
8. Смерть на Вихляйке	57
9. Автограф со слезами	65
10. Прозрачный изолятор	73
11. Халиф навек	80
12. Вина	88
13. Мавка	96
14. Сквозняк времени	102
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Ирина Батакова Белый, красный, черный, серый

*В оформлении обложки использована картина Натальи
Залозной*

© И. Батакова, текст, 2020

© Русский Гулливер, издание, 2020

© Центр современной литературы, 2020

1. Письмо

*«Профессору Леднёву Д. А.
от следователя Отделения Духовной Безопасности
при Комитете Тайных Дел
Дурмана И. А.*

Уважаемый Дмитрий Антонович!

Обращение мое к Вам связано с делом вандализма и богоборчества, а именно – с поджогом храма св. Стилиана (приход ДГ-8 Энского уезда). По сему делу проходит у нас заключенная № 1097 (далее – зэка-1097), девица 16-ти лет, которая была включена в программу испытаний вашим РЕВ-препаратом и с 11 сентября сего года переведена в Тюрьму Секретного Режима г. Москвы, где и находится по сей день.

Результаты экспериментального нейродопроса под РЕВ-препаратом, проведенного 12 сентября с. г., были признаны Комитетом как чрезвычайно спорные.

Так, например, из расшифровки нейрограммы следует, будто бы зэка-1097 обладает даром вангования. Однако вся практика нашего ведомства отвергает чудеса. В связи с чем мы имеем непростительные сомнения в том, что Ваш РЕВ-препарат соответствует заявленным характеристикам.

Просим в кратчайшие сроки развеять их.

А до тех пор Комитет будет вынужден заморозить производство РЕВ-препарата и остановить работу Вашей Лаборатории Памяти.

*С глубочайшим почтением и надеждой на понимание,
всегда Ваши*

Дурман И. А.

ОДБ КТД

среда 07:05

18.09.2061».

Леднев с брезгливой поспешностью сворачивает экран. Как будто это может отсрочить катастрофу. Переключает линзу в режим обычного зрения. В комнату сквозь циновку падает косыми полосами солнечный свет. Прекрасное осеннее утро. Если бы не Дурман.

Какой-то приход ДГ-8... Детский Город? Энский уезд... Где это? Какая-нибудь тьмутаракань, медвежий угол, чипированные пейзажи, которые отсчитывают дни по церковному календарю. Не дай бог, еще придется ехать туда, в зону светляков. Зона светляков... Он поморщился.

А все-таки надо что-то ответить. Чем раньше, тем лучше. Дмитрий Антонович развернул воздушный дисплей и снова открыл письмо. Так. Главное, не суетиться. Четко, кратко, по делу. Телеграфным стилем. Но и чтоб не очень сухо. Чуть сервильно и с душой.

«Всегда готов к сотрудничеству. Прошу выслать материалы дела. И расшифровку допроса в исполнении

грамотного ретранскрибатора с научной степенью в области нейрокомпьютерной лингвистики. Уверен, что смогу разрешить недоразумение сразу же, как ознакомлюсь с деталями. Сердечно признателен за оказанное мне высокое доверие. Профессор Леднев Д. А.».

Подумал, удалил фразу про сердечную признательность и нажал «отправить».

– Глаша! Кофе подай! И что там у нас на завтрак... – крикнул по пути в ванную.

В коридоре его догнало еще одно письмо. Оно было написано стилосом от руки, изукрашено буквицами и пересыпано архаичными смайлами:

«Деда, здрав будь!:) Муха ву хьо?¹ Выручи, а?))) Мне буквально двух сомов² на петар³ не хватает (((((Кинь мне на счет, а лучшие три, лады? Я у тебя в долгу!!!!))) лобзы, твой првнк Глеб».

«Что за манера у молодежи все мешать в одну кучу: и эти допотопные двоеточия со скобками, и новомодный волапюк», – проворчал Дмитрий Антонович.

Он перевел деньги, встал под холодный душ – и на

¹ Как ты? (чеч.).

² Сом – тысяча рублей (сленг, чеч.).

³ Петар – квартира (сленг, чеч.).

несколько минут, пока ледяные иглы жалили и прошивали его насквозь, обо всем забыл – только рычал, шипел и фыркал. Затем долго и жестко, до красноты, растирался полотенцем, с удовольствием и уважением разглядывая в зеркале свое длинное, крепкое, как доска, тело. Ему нравилась собственная старость. И сухие жилистые ноги, и покрытый седой кудрявой шерстью пах, и безупречно лысый череп, сверкающий бликами под лампами ванной. Он не жалел о глупых нежных локонах, которые давно и быстро растерял. А уж тем более – о своем молодом лице. Треугольное, с узким подбородком и выпуклыми, широко расставленными глазами – так, что они казались приделанными по бокам, у самых висков, – оно выглядело безвольным и комичным, пока он был юн, курчав и круглощек. С возрастом оно высохло, затвердело, щеки благородно впали, скулы заострились, глаза приобрели металлический блеск – и теперь во всех его чертах появилась какая-то сила и хватка, что-то даже гипнотическое и опасное. В лаборатории его называли «наш Богомол». Наш Богомол сучит жвалами. Наш Богомол поймал крупную добычу. Наш Богомол оторвет тебе голову... Безграмотная аналогия, да что с них взять. Дети.

– Иди, Глаша. Спасибо. Отдыхай.

Он съел завтрак, стоя у подоконника, отламывая пальцами от брикета маленькие кусочки. Смотрел немигающими глазами на город и чувствовал себя большим хищным на-

сековым. За окном, прошенная солнцем насквозь, шумела и неслась утренняя Москва – навесная, подземная, воздухо-рельсовая, шатровая, купольная... Город-гам. Будто по кольцу протянута турбина, и в ней безостановочно шугает и воет ветер.

Быстро просмотрел график приемов на сегодня, одновременно вслепую распахнул гардероб и длинными пальцами пробежался по плечикам костюмов, как по клавишам. На ощупь выбрал свой любимый, из шерсти перуанской викуны, золотисто-песочного цвета. Так... А туфли? Сандаловые замшевые от Ли? Или кожаные цвета черного чая от Квинхао?.. Сегодня обещали дождь. Значит, Квинхао. Черный чай, кожа. Да.

– Глаша! – крикнул, выходя из квартиры. – Если прилетит Ворона, открой ей окно, пожалуйста! И покорми!

На автостоянке его догнало новое письмо. Дурман, чтоб его.

«Примите расшифровку нейрограммы и материалы дела. Дедлайн завтра в пять утра. Жду ответа, как соловей лета».

Издавается.

Леднев сел в машину и открыл файл. «Дело зэка-1097».

2. Луч Правды

Зима исходит. День с ночью равняются.

Сегодня пятый день масленицы, сырная седмица, мясопустная неделя.

Уроки закончились. Мы сидим в классе, окна зашторены, только подсвечен неоновой рамкой портрет Государя на стене, а под ним горит экран: в эфире Луч Правды. Пятница – значит, покажут казнь. Судят какого-то большого начальника, генерала, по фамилии Жижа – и сам до чего противный тип, слава богу, телевизор запахов не передает, – потому что по фактуре видно: зело вонюч гражданин. Обширный хряк, пудов на десять – отожрался на добре народном, краденое – весь жирным потом сочится, рубаха шелковая на нем, вишневая с кантом золотым, черная в подмышках и на пузе разъехалась, а пузо рыхлым валиком над брючным ремнем нависает, как тесто ползет из кадки, и колышется, и трясется, и пупом тарашится... Тут еще, конечно, Луч Правды свойство такое имеет – иного так засветит, что вся мерзость нутряная наружу. А иной сидит, ручки сложил – и такой весь кроткий, ясный, прямо бестелесный – это уже, будьте-нате, враг поковарней, это духовный враг, вот как отец Всеволод Озерцов, раскольник, которого в другую пятницу судили.

И вот, значит, сидит этот Жижа-генерал – с брюхом своим, гадкий, опупевший. А над ним – голоса прокурора и

судьи разносятся, державно-благостно и скорбно, будто звонны колокольные в Страстную неделю – и так на душе легко становится! Так покойно! Все правильно, все хорошо – так и надо, только так и надо, так всем нам и надо, думаешь. А что «так надо» – Бог весть, просто твердо знаешь: надо, и все. Никакой суеты в уме. Умиротворение.

«Следствием установлено, что подсудимый Жижа... Злоупотребляя служебным положением... Незаконное преследование подвластных чиновников и торговых людей... Вымогательства, коррупционные сделки...» – читает прокурор.

Рядом со мною Рита ерзает, мается. Украдкой зевает.

– Скорей бы казнь. Ноги затекли. Потом айда на речку? – шепчет. – Там наши с нохчами на кулачках сегодня биться будут. А мы – метелицу плясать.

Я киваю. Хотя – сколько можно плясать эту метелицу. Сказано: от звезды и до воды – а святки давно минули.

На парту шлепается самолетик, Рита разворачивает, толкает меня локтем:

– Зырь.

Записка узким прямым почерком: «Возьмете в хелхар?;)»

– Юрочка, – томно сообщает Рита, глянув через плечо.

Ну, да. Кто еще хоровод модным хелхаром обзывает? И архаичные смайлы рисует? Неоэклектист. У него даже шнурки на ботинках завязаны на манер смутного времени.

Я тоже оборачиваюсь. С задней парты, пригнувшись, пристально смотрит на меня Юрочка Базлаев. Подмигивает. По-

том указательным и безымянным пальцами изображает танцующего человечка.

– Ой! А что это ты так покраснела, кума? – прищуривает глаза Рита.

– Я?.. Разве?..

– Да ваще! – она понарошку плюет на палец, прикладывает к моей щеке:

– Пс-с-с!

– Перестань!

– Остынь! – смеется Рита.

Ментор стучит указкой по столу:

– Гамаюн, Дерюгина! Разговорчики! Еще одно слово – и расскажу!

«...Для чего была создана целая организация преступного сообщества. Следствие длилось три года, 500 томов сведений агентурного учета... Члены ОПС и подельники установлены, будут привлечены...».

Куда-то делось мое умиротворение... Все из-за Риты.

Ей лишь бы поддеть, подзанозить: Юрочка, Юрочка... А что Юрочка – я и сама не знаю. У него такие светлые, бледно-русые волосы и вообще. Ментор говорит, мол, лицом и духовными исканиями наш Юрочка похож на графа Льва Толстого, героя Крымской войны. Глаза-незабудки, нос уточкой, широкий пухлый рот. И Юрочка шутя в герои готовится – а может, и правда станет: вроде, долговяз и сух, а силен, как жила. Ходит у Ментора в любимчиках. Тот, хоть

и ворчит на него часто, но любя, заботливо. Бывало, скажет: «На этой неделе снова у нас по всем предметам Базлаев впереди. Смотри, Юра, не зазнавайся, беги да не забегай. Помни: первый всегда одинок». И обязательно добавит – уже всему классу: «Но, как сказал наш Верховный муфтий, «если первый повернут к одиночеству лицом, то последний подставляет ему спину»».

«...Был испытан сывороткой правды... Мы все знаем этот механизм... Преступник состоит из множества мерцающих слоев: ложь-правда-ложь-правда... И как при отчитке изгоняемые бесы...»

– Да, да, – кивает Ментор. Он весь подался к экрану, шею вытянув, лицо от умиления замалинилось, глаза сияют благоговейной влагой.

Я, наверное, тоже преступник: правда и ложь во мне прячутся друг за другом и рядятся друг в друга. А вот Рита не такая. В ней нет обмана, но много игры, вызова. Даже когда она лукавит, то смотрит на тебя такими веселыми глазами, будто говорит: видишь, я тебя за нос вожу – ну-ка, разгадай, в чем дело. И вещи у нее такие же – все с каким-нибудь фокусом: пенал с тайной катушкой, на которую наматывается шпаргалка, ручка с невидимыми чернилами, светящиеся в темноте бусы, ластик-хамелеон, китайская коробочка-головоломка... Мальчишки обступят и кричат: «Оба-на! Ого! Ничего себе! А это что? А как оно работает? А дай потрогать?». Рита раздаривает свои сокровища направо и налево:

«мне папа еще привезет». Ее отец – капитан дальнего плавания, ходит по Волжскому пути через Идель-Урал на Каспий – оттуда морем в Иран. Однажды он привез ей красный хиджаб. Вроде что тут особенного – ну, хиджаб, ну, красный... Но какой это был красный! Не наш родной кумачовый, а какой-то райский, сказочно-алый, как перо жар-птицы. А ткань!.. Не ткань, а воздух. И когда она перехлестнула этот огненный воздух вокруг своей балетной шеи и пошла по коридору, вся такая узкая, точеная, с фарфоровым лицом, в этом нимбе алого сияния, сквозь толпу кургуzych пионеров и кохров⁴ – казалось, будто она идет по канату... В тот же вечер ее вызвала к себе на ковер Морковка: «Спрячь эту прельстивую тряпку с глаз долой! Ты меня в гроб заго- нишь! Молчи, не хочу ничего слышать, это угроза режиму, я не позволю...»

Морковка – завуч наша, Ольга Марковна – хорошая женщина, просто очень издерганная. Мы ее все в гроб загоним. Когда она кричит, ее мучнистое лицо идет красными пятнами. Она загоняется в гроб по любому пустяку: малейшее отклонение от правил, шаг в сторону от единообразия – угроза режиму. Путь к хаосу. Что с нами станет тогда? Мы все превратимся в опасных ублюдков. Поэтому – только дисциплина, только режим.

Режим неизменен, каждый день расписан по минутам.

⁴ Кохры – члены Коммунистическо-христианской партии молодежи (сокр. КО-ХР) – все ученики приходских школ, достигшие 14-ти лет.

Подъем в 6 утра, зарядка и 15-минутный кросс вокруг школы – какая это мука зимой. Черное утро, заледеневшие дорожки, скелеты деревьев рядами уходят в холодную тьму – оттуда веет хтонической жутью, мертвящим сквозняком, а ты бежишь – пар изо рта, в груди печет, кеды стучат резиновыми подошвами по мерзлой земле, как деревяшки: тук-тук, тук-тук, и это никогда не кончится. Вот когда нутром постигаешь суру аль-Фаляк: «прибегаю к защите Господа расцвета от зла мрака»! – когда до рассвета не добежать, и ни проблеска зари, ни луча. Только в окнах свет – холостой, казенный, нагоняет тоску, и эта тоска хуже, чем боль в груди от бега, чем морок тьмы и мороз. За окнами маячат резко освещенные фигуры – дневальные по спальням сонно возят швабрами, снуют туда-сюда нянечки и воспитатели, на кухне кипят котлы и дымят сковородки, и в клубах чада белеют халаты поварих, мелькают их распаренные лица и круглые локти, а в столовой бродят тенями дежурные, снимают стулья со столов, готовясь накрывать завтрак. Боже всеблагой, прости мне тайный грех уныния в эти ранние часы!

А кто тошнит по дороге – тот без завтрака остается. Но ничего! На пустой живот и наука идет, как говорит Ментор. Науки много у нас, в день по шесть-семь уроков, в субботу охочий день, и вместо Луча Правды – передача Дозорная Вышка. Ну, а воскресенье – праздник, сперва всей школой в храм, к Литургии, – а кого и домой отпускают, если родители имеют права категории А, вот как Юрочкины: отец агро-

ном, мать доярка, передовики труда, гордость колхоза Сталинский Ковчег, многодетная семья – вместе с Юрочкой восемь чад, и все – перворядные ученики в нашем Детском Городе. Правда, Юрочка и сам не очень-то рвется в свои черноземы и часто по выходным остается в интернате, что Уставом не запрещено, а, наоборот, поощряется, ведь все мы знаем, что духовное родство выше кровного, все мы помним закон роевого сознания: не улей для ячейки, а ячейка для улья, где ячейка – это семья, а Государство – духовный улей. Все мы – государственные дети, и только потом – родительские.

«...Сознался в мотиве своих злодеяний: «Все делал ради детей». Итак. Перед нами тот самый случай, когда злейшие враги человека – домочадцы его. В данном случае – чада. Да, они невиновны, но разве невинны? Нет, нет и нет! Они безнадежно испорчены, поелику разъединены с массой, вычтены из нее и погружены с малолетства в незаконную роскошь, добытую преступной деятельностью подсудимого. Но даже будь они чисты, как новокрещенные младенцы, – разве не сказано: *Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода?..* Так исполним же закон, первое правило которого гласит: нет мотива – нет и преступления. Мы не колдуны, не гадалки и не можем читать в сердцах, чтобы заранее истребить мотив, до того как преступление свершится. Но мы обязаны уничтожить мотив уже постфактум – в назидание остальным. Чтобы каждый трепетал, осознавая: будь ты хоть пескарик при-

донный, хоть действительный тайный советник 1-го ранга – не избежнешь кары, если зло чинишь против Государства. А нет хуже кары, чем видеть: все, ради чего ты пренебрег своей жизнью и честью, будет уничтожено без жалости и сомнений. Без жалости и сомнений! Только так мы возбудим в тайно преступных сердцах покорность и законопослушание. Уважаемый суд! Требую высшей меры наказания по статье 59 с применением поправки 12-б. У меня все».

– Ну, слава богу... – ворчит Рита, сдавливая челюстями зевок. – Сейчас пойдет забава.

– А что за поправка 12-б? – говорю.

– Не знаю. Вот и посмотрим.

– Так, все! – кричит Ментор, яростно колотя указкой. – Я предупреждал!

Рита пригибает голову и, по странной своей привычке, скалит зубы, языком проводя по резцам. Это ее не портит. Зубы у нее как белое лезвие. Черные волосы, синие глаза, фарфоровая кожа, маленький пунцовый рот – вся ее красота безжалостна, как небесный приговор, потому что завистники попадают в ад. Иногда мне становится невыносимо ее присутствие: она будто стрелка, всегда указывающая на мой грех. Поэтому, когда сегодня утром она сказала, что завтра уезжает домой на выходные, я испытала облегчение.

Она редко уезжает – только когда отец приходит из плавания, раз в три месяца, а порой рейс длится полгода. Несмотря на престижную должность отца, ее семья – не самая об-

разцовая, до категории А не дотягивает. Поэтому, хоть ей и разрешается навещать родительский дом, но нечасто, и то лишь когда отец там бывает в отпуске. Все остальное время Рита живет в интернате.

А я здесь живу всегда, с семи лет. Дом свой я помню смутно – он ничем не отличался от множества барачных зданий в нашей коммуне. Зато я хорошо помню ремесленную артель, где работал мой отец и другие художники, огромные мастерские с высокими, до потолка, окнами, запах скипидара, льняного лака и какой-то особый, едва уловимый сладковато-рыбный аромат масляных красок. Чтобы я не скучала и никому не мешала, отец выдавал мне бумагу, кисти и краски, или уголь, или цветные мелки, – я рисовала, посматривая на художников – веселых бородатых мужиков и остроглазых баб в черных халатах, заляпанных разноцветной грязью, – и была уверена, что тоже принадлежу к артели. Устав, я шла бродить по коридорам и заглядывала к другим – все двери были открыты, и никто не гнал меня. Сейчас мне кажется, что там всегда было солнечно: на дощатых полах лежали квадраты света, расчерченные длинными тенями от мольбертов, и все пространство будто стояло на косых солнечных столбах, в которых роилась сверкающая пыль. Только в скульптурных мастерских, расположенных на цокольном этаже, царила мрачная мистическая атмосфера: запах подземелья, чугунные ванны, заполненные сырой глиной, а вдоль стен, на станках, словно призраки в саванах, возвыша-

лись обернутые в полиэтиленовую пленку серые истуканы.

Я была счастлива первые шесть с половиной лет своей жизни. А потом отец исчез. Его искали – не нашли, и никто не знает, что с ним случилось. Но из-за подозрений, что он бежал, нашу семью понизили в статусе. Куда можно сбежать из зоны светляков? Говорят, где-то есть тайные коммуны, где живут беглецы-невидимки. А может, и есть. Россия велика – от Финского залива до Урала. Поди за всем уследи...

– Гамаюн – сюда, за первую парту! Позубоскаль мне, позубоскаль. Давай, встала и пошла. Да, вот сюда... На место Маши. А ты, Маша, к Дерюгиной иди... Давай, давай. Вот, молодец. Так и сидите впредь. И всем молчать! Иначе прокляну!

Теперь сидеть мне с Машей до морковкина заговенья. Ну, ладно, что ж... Может, оно и к лучшему. От Риты только терзанья да печаль.

«...Суд постановляет: признать подсудимого виновным согласно статье 59-й «создание организованного преступного сообщества». Признать его признание достаточным для применения 12-й поправки пункт «б»: государственное преступление в интересах биологических детей. Суд выносит приговор: уничтожить мотив преступления на глазах у виновного с последующей казнью самого виновного. Ввести детей и приступить к исполнению приговора немедленно, без последнего причастия»... В камеру вводят девочку-подростка и кудрявого толстого юношу, ставят лицом к стенке и рас-

стреливают. «Что-о?! Что такое?! Отставить!» – страшным безумным голосом ревет Жижа. Палачи поворачиваются и несколько раз стреляют ему в лицо.

3. В гостях у сказки

Не тот ли это Жижа, который... Да-да, расстрелянный вместе с детьми восемь месяцев назад. Громкое было дело. Первый случай такой жестокой расправы своих со своими. Первый случай применения 12-б поправки – и сразу к детям комитетчика. Ходили слухи, что это война между черными и серыми... Вот, поди ж ты. И в зоне светляков такое показывают.

Со всех сторон доносились нервные гудки автомобилей. Леднев свернул расшифровку нейрограммы и огляделся, но не увидел ни зги: кругом мело, и в стекла Чангана пляхались мокрые белые кляксы.

– Что это?

– Пробка, – ответил Чанган.

– Вижу, что пробка. А это вот, это вот что?

– Метель.

– В сентябре? Куда смотрит городской голова! – проворчал Леднев. – Десять лет обещает купол над Садовым, и что? Все завтраками кормит... А синоптик твой где, отключен?

– Синоптик обещал до полудня дождь, а после обеда – солнце.

Леднев тихо выругался. Знал бы – взял вместо электропузыря старую кондовую ладу... А теперь вот буксуй в этой каше, весь по стеклу заляпанный кашей. Одно утешает: во-

круг – такие же дураки в пузырях.

В наушнике пикнуло: у вас одно новое голосовое сообщение.

«Здравствуйте! С вами центр «Добрый Доктор Айболит». Вы заявляли третьего дня о пропаже домашнего животного? Примите наши соболезнования. Найден труп вороны (вид – Corvus cornix) с разряженным клеймом, просим явиться на опознание и кремацию. Цена услуги – 1 рубль 12 копеек. Штраф за неявку – две базовых единицы. С нетерпением ждем. «Добрый Доктор Айболит» – это лучшая забота о ваших питомцах! Покупайте наши корма и лекарства, и ваши любимцы всегда будут...».

Конечно, это не она. Конечно, они перепутали. Идиоты... «Приносим наши соболезнования»... Вежливые кретины. Дмитрий Антонович откинулся в кресле и, глядя в потолок, продиктовал ответ ветклинике:

«Уверен, это ошибка. Вы указали другой биологический вид – Corvus cornix. Тогда как вид искомой птицы – Corvus corax. Это не мое животное. Снимите запрос на опознание трупа».

Чанган свернул в Трехпрудный переулок. Поравнялся с резной вывеской «В гостях у Сказки».

– Тпру! – сказал Дмитрий Антонович. – Стоять.

Выскочил и, скукожившись, на цыпочках помчался в лавку. Ветер дал ему пощечину, насыпал за воротник и задрал

подол, как блудной девке.

Отбиваясь, тяжело дыша, он ворвался внутрь. Как только за ним захлопнулась дверь, все стихло в блаженном покое. В лавке пахло елеем, сосновыми шишками и горячими пирогами. Ни одного человека. Окно кассы было закрыто деревянными ставнями с вырезанными на них петухами. Рядом висел колокольчик.

Леднев подергал нетерпеливо. Раздалась старинная советская мелодия: сперва вступление на металлофоне рассыпчатыми переливами, затем фальшиво-детский голосок пропел:

Если вы не так уж боитесь Кашея
Или Бармалея и Бабу Ягу,
Приходите в гости к нам поскорее —
Там, где зеленый дуб на берегу...

Ставни медленно растворились, и в окне появилось зашпанный женское лицо в кичке с натертыми свеклой щеками. На шлейке сарафана — берестяная табличка: «Тетя Валя».

— Доброе утро, тетя Валь, — сказал Леднев, все еще отряхиваясь.

— Во погода, да? — ответило свекольное лицо, зевая.

— И не говорите... Как моя звезда? Готова ли?

— А что ей сделается, Дмитрий Антонович. Одну минутку.

Она повозилась и просунула наружу деревянную звезду-головоломку:

– Ваша?

– Моя.

Молча расплатился, сунул звезду подмышку и поспешил к Чангану. Ветер набросился на него, закружил, разорвал, швыряясь дождем и снегом. Вдруг, сквозь весь этот бедлам, Леднев увидел свою Ворону. Она весело кувыркалась в вихре, хватая клювом на лету какие-то бумажки, листья...

– Ворона! – закричал Дмитрий Антонович, вытянув шею и уже не замечая, как его лупит со всех сторон.

Он даже было ринулся вслед за ней – бежал, хватая воздух растопыренными пальцами. В рукава ему забивались бумажки и листья. По лицу хлестал мокрый снег. Что же я делаю? – опомнился он. Я схожу с ума. И, совершенно растерзанный метелью, насквозь мокрый и печальный, вернулся к своему пузырю.

– Трогай, голубчик. Улетела наша Ворона. А может, и не наша. Кто там разберет, вишь, пурга какая... Глаза ведь могут обмануть? – делился он переживаниями с беспилотником. Чанган молчал, добросовестно исполняя свою механическую работу.

– Идиоты, – горестно прошептал он. – Труп вороны... Да я и сам дурак. Не мог дать ей нормальное имя? Вот теперь и объясняй всем, что Ворона – на самом деле ворон. *Corvus corax*.

Идеально черная птица, перо к перу, блестящая, как вулканическое стекло. Леднев подобрал ее слетком в Зарядье

прошлой весной. Гулял по медленной тропинке, прицеливаясь линзой к объектам природы, и вдруг холодной щекоткой пробрало насквозь: а что если я сам – объект наблюдения природы? Остановился. Вгляделся. И точно. Из травы на него смотрел умный злой глаз.

Это был глаз врага – который понимает, что обнаружен, и готов умереть с боем. Птенец лежал неподвижно, плашмя, слившись с землей, так хорошо замаскированный, что Ледневу стало досадно на себя: зачем я увидел его? Как будто что-то непоправимо испортил. Если бы в этот момент огромные черные враны низринулись с неба и поклевали его... Но никто не поклевал – видимо, зеленая полиция уже застрелила родителей птенца. Он подождал, огляделся. Ничего. Подошел. Вороненок поднял клюв, раззявил алую пасть и каркнул. Леднев набросил на него шарф.

Держал на террасе, кормил с руки, еду заказывал в «Живом уголке» – Глаша составляла меню: толстые личинки, древесные гусеницы, мокрицы из-под влажных камней, прямкрылые кузнечики, мыши домашние и полевые, птичьи яйца, рыбы глаза, белое мясо, творожное зерно... Все другое – какие-то очень полезные коренья, одуванчики, тертую морковь, овсянку, сваренную на медовой пыльце и утренней росе – Ворона презирала.

Через год она заговорила приятным баритоном: «Мышь, мыш, кушать мыш».

– Какая кровожадная, – сказала Глаша.

– Вся в меня, – усмехнулся Леднев.

– И голос ваш, хозяин.

– Правда? – он прислушался. – А ведь действительно. Черт. Я бы и не узнал, звучит как-то... зловеще.

– Вот именно, хозяин.

Надо бы отключить Глаше эту дурацкую старорежимную функцию «хозяин» – давно копилось это раздражение. Да все некогда. Лень разбираться. Легче отключить сразу всю речь. Интересно, у кого она более осмысленна: у птицы-пересмешницы или у гиноида?

После еды Ворона требовала голосом Дмитрия Антоновича: «Неваляшка, неваляшка». Единственная игрушка, которую эта бестия не сломала. Говорила с четким московским акцентом, проглатывая безударные и растягивая ударные. Подпрыгивала от нетерпения, вперевалку бегала за ним на черных косых лапах. Смешно. И все-таки жутко... Жутко, когда твой собственный голос раздается не из машины, не из аудиозаписи, а из кого-то другого: живого организма, души неведомой.

Но ведь чертовски умна, собака. Не отнять. Пришло время – разгадала и секрет неваляшки. Разломала, выгрызла из пустого нутра грузило – и заскучала. Чтобы направить энергию разрушения в мирное русло – и просто из любопытства: а что еще она может? – Леднев начал задавать ей логические задачки. Достань из колбы вкусный рыбий глаз при помощи воды и камней. Открой стеклянный ящик – догадайся, как, –

чтобы получить розовую сладкую креветку. Сложи кубики в нужном порядке – и па-бам, кушай мышь, кушай мышь. Реши головоломку – и вот тебе к столу филе молочного теленка.

Конечно, собрать какой-нибудь дьявольский куб или ханойскую башню она не могла – зато как она разбирала! Как разбирала! Мастерила инструменты из проволоки: загибала крючками, компенсируя технические недостатки собственного клюва. Будь у нее клюв попугая, она могла бы разобрать на детали всю адскую машинерию Данте, все кинетические механизмы Тео Янсена... Даже челнок от швейной машинки Зингер с кожаным ремнем привода и чугунной педалью...

4. Белые кляксы

– Это несправедливо, – говорю.

Мы гуляем с Ритой и Юрочкой в школьном парке. День стоит светло-серый, немой и слабый, как бывает в канун оттепели. Тишина, только вороны сварливо перекаркиваются, ковыряясь в снегу. У Юрочки свежий фингал под глазом и губа разбита, кровит, – в кулачном бою кохров с комусами⁵ ему досталось, но зубы целы, и двух вайнахов он положил – теперь сияет.

– Ты о чем? – спрашивает Рита.

– О сегодняшнем приговоре.

Рита фыркает и хмурится, сбивает с ветки снег варежкой:

– Нашла о чем думать.

– Мы все должны об этом думать! – грозно басит Юрочка, изображая голос прокурора. – Эй! Ну что вы такие мрачные, девчонки, а? Что, стремно вам? У-у-у! – Юрочка забегает во фронт и, высоко задирая свои длинные голенастые ноги, идет к лесу задом, а к нам передом. – Рита, Ритуля, страшно тебе, да? В очи зри мне, отроковица! Молви сердцем не лукавая: чего боишься ты, капитанская дочка? А-а! Дай догадаюсь! Что папаню твоего за ноздрю схватят, и он тебя сдаст

⁵ Комусы – члены Коммунистическо-мусульманской партии молодежи (все ученики медресе, достигшие 14-ти лет).

по статье 59-126? И будешь ты принародно, на всех экранах страны, предана лютой казни в своем заморском контрафактном хиджабе?

– Я смерти не боюсь.

Юрочка выбрасывает руку навстречу ей:

– Нийса ду⁶!

Рита бьет его по ладони. Юрочка на ходу поворачивается на каблуке, словно ее удар придал ему угловую скорость, и продолжает шагать вперед уже спиной к нам, театрально воздев руки горе и распевая:

– Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть, угаси ю, иже от нея держимый, плени ада, сошедый во ад!.. Где твое, смерти, жало? Где твоя, аде, победа?..

– Ты какой-то чудной в последнее время, – говорит Рита. – Как помешанный.

– Правда? – он смеется. – А может, и так.

– Может, ты влюбился?

– А может, и влюбился!

– И в кого же?

– Не скажу, – он загадочно сияет.

– Ну, скажи, скажи... – не отстает Рита.

– Ладно. Но только на ушко. Каждой по секрету.

Он быстро наклоняется к Рите, я отвожу глаза. Затем ко мне, выдыхает: «В тебя!».

Рита смотрит на меня почему-то победоносно и с жало-

⁶ Чеченский: «это правильно».

стью.

Я не успеваю понять, что произошло, – какая-то тень метнулась от дерева к дереву.

– Что это? – вскрикивает Рита.

– Где? – оборачивается Юрочка.

В наступившей тишине треснула ветка. Из-за ствола появилась черная фигура. Демьян Воропай.

– Маршалла, брателло! – Юрочка мгновенно принял свой обычный вальяжный вид. – Какого лешего ты один? И что ты тут делаешь?

– Дрочу, – сказал Воропай, пожимая протянутую Юрочкой руку. – Кстати, я дрочу правой.

Он бросил тяжелый косой взгляд в нашу с Ритой сторону.

– Как ты вульгарен, мой друг, – вздохнул Юрочка, невольно вытирая ладонь, которой поздоровался с ним, о штанину.

Воропай у нас инопланетянин. Шесть лет назад его семья сгорела в пожаре. Год он провел в психиатрической лечебнице, а когда вернулся в интернат, попал в наш класс. Нам тогда было по десять-одиннадцать, а Воропаю уже двенадцать, но выглядел он еще старше – из-за странной одутловатости лица и угрюмого, неприятно рассеянного взгляда: вроде, вглядывается в тебя, а не видит. На самом деле, вся эта мрачная старообразность объяснялась просто: Воропай за год в больнице опух от лекарств, а причиной его нехорошего взгляда была обыкновенная близорукость. Но тогда мы об этом не знали, новичок никому не понравился – жутковатый чу-

дик, да ну его. И ведет себя с какой-то зловещей придурью – мальчишки рассказывали, что по ночам он встает, подходит к окну и подает в небо сигналы азбуки морзе, не обращая внимания на шепот и смешки за спиной, – в открытую задирать его боялись. Так продолжалось неделю-две, а потом мальчишки собрали для него мешочек с дарами, чтобы только узнать его тайну. И тогда он «сознался»: «А вы думаете, почему я выгляжу таким старым? Мне ведь не двенадцать лет. А тридцать. Просто я инопланетянин. Меня сюда внедрили с миссией. Я притворяюсь русским пионером. И под этим прикрытием передаю данные нашей галактической разведке. Но я спалился: мои *гнездовые* родители-земляне меня раскусили. Так что мне пришлось спалить нахер всю семейку». И никто не смеялся. Что-то было в его тоне такое невыдуманное, какое-то натуральное рептильное бездушие. И если раньше его чурались, то теперь стали относиться с тайным страхом и уважением. Даже некоторые учителя заискивали перед ним – как-то в ярости он стукнул кулаком по столу русицы, когда получил двойку, в другой раз нахамил учителю богословия, – и все ему сходило с рук. В гневе глаза его становились выпуклыми и печальными, в движениях появлялась какая-то чуткая угроза. Говорят, они с Юрочкой долго испытывали друг друга на кулачках – и никто не мог одолеть. На том и побратались. Мальчишки! Все у них так.

– Темнеет, – говорит Рита. – Опять сыплется эта рянда с неба, чтоб ее... Кто знает время? Не опоздать бы на само-

подготовку...

– Пять двадцать пять, бежим! – спохватывается Юрочка. Мы бежим. Все, кроме Воропая.

– А где твой кулончик? Этот, с часиками внутри? – кричит Юрочка Рите на бегу, сквозь снежные хлопья, налипающие на разбитые в кровь губы, на ресницы, белобрысые на фоне фиолетового синяка...

– Подарила, не помню кому...

– Ну, и дура! – скачет он. – Я тебя обманул, еще есть пятнадцать минут!

Рита сбивает с него шапку. Юрочка хватается Риту за талию и опрокидывает в сугроб. Они борются и смеются.

Не спеша подходит Воропай.

– Как дети, – он сплевывает себе под ноги. – А ты чего такая злая стоишь? Иди подерись с ними.

– Какая хочу, такая и стою.

Похоже, Воропая совершенно не волнует, что мы застукали его в одиночестве. Он как будто даже доволен собой: снова он – особенный, над законом, и владеет какой-то страшной тайной.

– Что уставилась? Не можешь сообразить, как это я хер положил на Спутник?

– Могу.

– Не можешь, – он бросает взгляд туда, где барахтаются Рита и Юрочка. – Все бабы делятся на два типа: либо дуры, либо шкуры. Третьего не дано. Ладно... Развлекайтесь, – за-

совывает руки в карманы, уходит.

Он срезает путь и чешет без дороги меж деревьев, по рыхлому насту, вверх по холму с зачерствевшими гребнями снега. Я смотрю ему вслед. Он останавливается, оборачивается – едва различимый сквозь отвесную пелену белых клякс – кричит:

– Я умею быть невидимым!

И шагает дальше.

Рита и Юрочка все еще возятся в сугробе. Я туда не смотрю.

– Ну, все!.. Отстань уже!.. Хватит! Пусти! – шипит Рита. – Мы опоздаем! Ну, все... Мы опоздали!

– Стой... Где моя шапка? Стой! Где моя шапка? Где моя шапка?

Наконец они выбирают на дорогу, отряхиваются, выбивают комья снега из-за пазух и воротников, из рукавов и карманов.

– Во перхляк повалил! – оглядывается Юрочка. – Завтра с зарей по свежему следу можно на зайца идти... А вот и шапка моя! Динка, что ж ты молчишь, прямо у тебя под ногою! Аль не видишь?

– Динка у нас такая, да. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего никому не скажу. – Рита обнимает меня ласково. – Дин, ты ведь не скажешь никому?

– Про шапку?

– Какая прелесть! – хохочет Юрочка. – Она всегда такая?

Динкальдинка, ты всегда такая? А покажи свои уши?

– Зачем? – я теснее прижимаю платок к ушам.

– У тебя глаза косульи! Вдруг и уши такие же, длинные, мохнатые?

И всю дорогу до школы он меня дразнит.

На самоподготовке, сидя над математической задачей, я вдруг поняла, что Юрочка пошутил с нами: шепнул и мне, и Рите одни и те же слова: «в тебя». Признался в любви обоим. Вот почему Рита так смотрела на меня. Она и не догадалась... Тем лучше, иначе она бы меня возненавидела. Но в груди так ныло, так тянуло, словно кто из меня нитку сучил. Что со мной? Пустое. Надо вернуться к математике.

Так... Что тут... Задача. «Некий имярек нашел денежный клад. Часть денег он отдал в государеву казну, а разность у него отобрали грабители. Загоревал имярек и размечтался: вот бы, де, к сему кладу прибавить то, что вычли в казну, да сложить с тем, что отграбили, так было бы у меня 999 рублей! Вопрос: могло ли число рублей в кладе быть целым? Объясни почему». Почему. Почему. Почему я чувствую себя как этот глупый имярек, у которого в глазах двоится от жадной тоски и потеря вырастает вдвое? Я ведь даже ничего не нашла и не потеряла. О чем горюю и мечтаю? Что со мной? Я ревную? Почему? Разве я люблю? Как это – любить? И что все это значит? Весь этот день, этот бледный морок, войлочное небо, и деревья словно из валяной шерсти, и медленно летящие вороны над пологими холмами и застругами,

сквозь снегопад... Снегопад – это рукопись Бога, он пишет набело, пишет и пишет, и буквы падают с неба, но мы не различаем ничего, кроме бесформенных клякс... Я могу быть невидимым – что означают эти слова? «Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? – говорит Господь. – Не наполняю ли Я небо и землю?»... Тающие хлопья на окровавленных юрочкиных губах, опрокинутая ногами вверх Рита – зачем во всем этом столько красоты, желания и муки? К чему мне знать, было ли некое число целым, если я сама дроблёная и себя не знаю...

В задумчивости я не заметила, как рука моя пошла гулять и выводить на полях узоры, закорючки и спирали. Известно, грех тут невелик, а все ж есть риск получить от Ментора указкой по пальцам за рассеянность и мыслелбудие. Но тут я заметила, что черточки и линии складываются в какой-то намек образа. Я немного дорисовала и получилось дерево со спиралями в кроне, как бывает, когда фонарь зимней ночью горит сквозь заиндевевшие ветви. Всегда хотелось нарисовать этот конус света от фонаря, в котором летит снег. Но там вся красота – в движении, которое происходит только в маленьких пределах света, а за его границами исчезает.

Я взглянула на Ментора: не следит ли? Не намеревается ли обойти класс, как он любит, медленно и бесшумно, надолго замирая там и тут, чтобы в нужный момент подкрасться к нарушителю? Нет, вроде ничего: сидит за своей конторкой, углубившись в книгу. Из-за наклонной столешницы не вид-

но обложки, но наверняка это какие-нибудь Четьи-Минеи или Политический Атлас. Он сидит в своей обычной «мыслительной» позе, буквой зет. Он принадлежит к множеству целых чисел.

«Рита дура. Юрочка пустозвон», – пишу я поверх рисунка, вырываю лист из тетради и прячу в карман.

Все-таки хорошо, что Ментор рассадил нас с Ритой, и теперь со мной за партой сидит Маша Великанова. Это необыкновенное везение: Маша умна, как Луначарский, и флегматична, как артельная корова. Она никогда не интересуется, что я там вытворяю в своих тетрадках. Или в своем уме.

5. Молодильное яблоко

Чанган свернул в Большой Палашевский и – пока скользил до поворота на Малую Бронную – вдруг развиднелось. Снег превратился в дождь, пошел крупными плетями, сквозь них, ослепляя, сверкая в каплях, пробило злое маленькое солнце и зажгло медным огнем буквы над входом в угловое здание. Вверху – лозунг клиники, Леднев сам его когда-то и придумал, взяв из 1-го послания к коринфянам:

Последний же враг истребится – смерть.

А ниже – шильда:

клинический центр
МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОКО
Московского государственного института
долголетия
им. Святого Помазанника Божьего...

Имя Государя было замазано: по нему красной краской был выведен символ хакер-анархистов – хер в круге, перечеркнутый внизу буквой аз. Взбесились они сегодня ночью, что ли?

– Ты погляди, ну! – сказал он Чангану, расплачиваясь и выпрастывая наружу свои длинные ноги. – Мерзавцы!

– Спасибо на здоровье добрый путь! – ответил вежливый беспилотник и ушелестел вдаль.

Леднев прошел через тяжелые деревянные двери старинной работы – уступка моде, они выполняли чисто декоративную функцию, как и весь наружный контур здания. Внутри этого помпезного новодела в стиле сталинской эклектики располагалась сеть разноэтажных переходов с ИД-пропусками на каждом уровне – и с лифтовой будкой в конце.

– Все клин-роботы на уборку территории! – заходя в лифт, рявкнул Леднев, – Органические сотрудники! У вас глаза на жопе? Что это такое? Вы шильду на входе видели? Вы там что, с ума посходили? Если через тридцать секунд не будет чисто, всех уволю нахрен.

Последнее он мог бы и не добавлять – все в клинике знали: фразу «органические сотрудники» Леднев произносит, когда хочет стереть с лица Земли все человечество, а не то что кого-то там уволить.

Он возглавлял клинику уже двадцать пять лет – после смерти бывшего главы, доктора Кохана. А работал здесь – более тридцати. С тех пор как под научным руководством Кохана – который любил и вел его аж с довоенных времен, с прекрасных времен аспирантуры и защиты диссертации, – Леднев создал формулу «Кощеевой иглы». Собственно, на базе их исследовательской работы и была основана клиника. Почему Кохан не захотел воспользоваться изобретением любимого ученика и предпочел умереть от старости – загадка.

Леднев знал: в околонаучной среде расползались отвратительные слухи. Будто бы он украл изобретение у Кохана,

присвоил себе, а Ко-хан – тут его изображали человеком не от мира сего, на грани аутизма, эскапистом и социофобом, эдаким безумным профессором – каким он, разумеется, не был, иначе не смог бы возглавлять институт и ворочать этими глыбами, магматическими породами человеческих отношений... – так вот, будто бы святой Кохан не захотел бороться с коварством вероломного ученика, и – вот, избрал такую меру протеста: уйти из жизни, презрев «Кощееву иглу», как презирают пользоваться украденным предметом из рук вора.

Яд просачивался в СМИ. И вот уже появились идеи, будто Леднев сам и убил Кохана. Тут версии пошли одна другой мерзопакостнее. Какая-то газетенка распространила сплетню про их гомосексуальную связь: мол, Леднев, жестоко играя чувствами Кохана, просто довел старика до инфаркта. Другая, где в редакции сидели охранители духовных скреп, яростно вступила в полемику: мол, не надо грязи, руки прочь от Кохана, не позволим пятнать имя великого русского ученого! – и в итоге договорились до того, что Леднев спровоцировал инфаркт учителя, отравив его каким-то хитрым препаратом.

Все это змеиное шипение, эти укусы исподтишка сильно подпортили характер Леднева – солярный, гедонистический и даже наивный. И где-то к семидесяти годам он превратился в «Богомола», в хищное сухое насекомое, которое сейчас всем поотрывает головы... Хотя, если разобраться, это все та же декоративная дверь, не что иное как дань моде – удобный

для всех и всеми признанный образ.

Он спустился на базовый этаж, перешел в другую кабину и поднялся в холл. Здесь, на вахте с обычным роторным турникетом, стоит обычная «белковая» охрана – сегодня это ражий дебелий парень Артем. Самый простодушный из охранников. Сколько бы ни было выстроено уровней технозащит, где-то в этой цепи обязательно должен присутствовать человек. Даже если этот человек – дурак.

– Ну, вы им жару задали! – говорит Артем восхищенно, по-лакейски отделяя себе от «них» – тех, кому сделал выговор Леднев.

– Здравствуй, Артем, – Леднев отряхивается и заодно как бы рассеянно вынимает из подмышки сверток с головоломкой-звездой.

– Доброго утречка, Дмитрий Антонович. А это что это у вас там такое, ну-ка, ну-ка? Предъявите!

Голос его звучит игриво и лукаво. Он, как и все глупые люди, думает, что наделен исключительной проницательностью и чувством юмора.

Леднев разворачивает сверток.

– Опять какая-то умная хреновина? Куда вы их только складываете? У вас там, поди, и места не осталось!

– А, пожалуй, ты и прав, – говорит Леднев озадаченно. – Не осталось. Вся полка забита.

Артем самодовольно лыбится.

– Может, поддержишь эту штуку у себя до конца рабочего

дня? Пока я там разгребусь... Освобожу место. Ставить-то некуда. Заодно разгадаешь.

Толстые уши охранника мгновенно воспламеняются.

– Да я-то в два счета разгадаю! В два счета! А смысл? А? Зачем же мне вам удовольствие ломать! Я ж не зверь какой! Не-не, и даже не просите – не буду! Вот еще вздумали... Да и времени у меня нет – служба!

– Служба – это дело. Понимаю, – Леднев проходит через турникет, оборачивается. – Но Лигу-то будешь смотреть?

Артем радостно вспыхивает и переливается всеми цветами радуги, как синекольчатый осьминог.

– А то! Полуфинал же! Святое!

Леднев идет к лифту третьего уровня, триумфально вскидывая над головой большой палец: мы с тобой одной крови! Теперь этот лопоухий мальчик даже не вспомнит, что я там нес подмышкой: звезду, шар или параллелепипед.

6. Ветер, намеченный грубой кистью

От отца осталась картина. Она казалась незаконченной. В ней не было порядка: ни твердой формы, ни отчетливых силуэтов, одна кромешная зелень. Множество оттенков зеленого, светящихся изнутри, как сколы драгоценных камней. Из мглы грубых тесно наложенных мазков проступал сад – буйные густопсовые кроны, простреленные насквозь солнцем, ветром зачесанные набок косматые травы и розоватый прибор тропинки, которая, нарушая все законы перспективы, как бы тоже вздувалась на ветру – но особенно меня поражало движение выпуклых и рваных, как струпья, мазков – оно имело свой ход, противоположный ветру, меняя направление смысла, обещая какую-то тайну.

Я никогда не видела ничего подобного в живой природе, но странно: я как будто все здесь узнавала. Мне казалось, что эта картина – про меня. Что это я иду по тропинке в лучезарном саду с двумя ветрами и что все это было со мной когда-то давным-давно и до сих пор продолжается. В детстве я почему-то думала, что память умеет оглядываться не только назад, но и вперед, что «давным-давно» – это не обязательно о прошлом, это может быть и о будущем. И когда взрослые говорили о каком-то событии «это было столько-то лет на-

зад», я воображала, что фраза «это было столько-то лет вперед» прозвучала бы так же естественно. Возможно, потому, что сама я, из-за малых лет, еще ничего не помнила из своего прошлого, кроме смутных образов и ощущений, которые невозможно было отнести к какому-то определенному времени.

Мы жили в 12-м корпусе семейного общежития, комната была разделена ширмой – с одной стороны обитали мы с бабушкой, с другой – мать с отцом. Когда отец пропал, нас уплотнили тремя старухами. Я помню ту мучительную тесноту, в которой мы внезапно оказались: нагромождение чужих вещей и запахов, какие-то бесконечные коробочки, пакеты, смрадные тряпки, вечные склоки, толкотня, шипение... Соседки целыми днями ругались между собой, а когда не ругались – рассказывали о своих болячках, стараясь перещеголять друг дружку, чья болячка больнее, – и снова все заканчивалось сварой. Мирились они только когда начинали перебивать косточки мужчинам – одна из них была безмужницей, старой девой, а две другие вдовы, и всем трем было что вспомнить. Тут уж к злобным старухам присоединялась и наша бабушка, и я с тоской слушала, как она клянет моего непутевого отца-художника, который, сволочь такая, нам всю жизнь сломал, и лучше бы он сдох, чем вот так пропал, как сквозь землю провалился, ведь именно из-за его таинственного исчезновения нас понизили до В-категории и ухудшили жилищные условия, о чем он думал, спрашивает-

сы? Когда мама не выдерживала и начинала заступаться за отца, бабушка подхватывалась: «А ты тоже дура. С большого перебору выбрала засеру», – и старухи одобрительно заливались беззубым смехом. «Тьхудожник! Весь вонючий от своих красок, грязный, нечесаный, да еще какую-нибудь свою мазню в дом тащит – о!» – она тыкала артритным пальцем в его картину, которая висела у меня над кроватью. Словно указывая на какой-то позор. «Натяпал-наляпал – ничего не разобрать». Старухи качали головами, хихикали. «Так и я могу», – говорила одна из них. «А я и получше умею», – хлопывала ладонью другая по шпалере у себя над головой, где была изображена ваза с красными цветами. «Вот картина, я понимаю, – показывала третья какую-то вырезку из журнала. – А? Красота!»

Через полгода мать простудилась на полевых работах – стояло холодное лето с затяжными морозящими дождями, – и в две недели умерла от воспаления легких. За пять минут до ее смерти я проснулась и увидела ее лицо в лунном свете – удивительно ясное, с открытыми внимательными глазами. «Мам! – позвала я. – Ты чего?». Она молчала, вглядываясь куда-то. «Шевелится», – прошептала она. «Кто?». Она слабым жестом указала на картину: «Там... ветер... сильный ветер... дует оттуда на меня... Зовет меня... туда». Я прижалась к ее горячим сухим рукам и заплакала. «Не плачь, – сказала она. – Там хорошо».

Через несколько дней после похорон был субботник, по-

всюду жгли мусор в больших железных бочках, и бабушка сказала: «Не могу ее больше видеть» – сняла картину со стены и понесла во двор, чтобы с ветошью и хламом бросить в огонь. Я закричала и повисла у нее на руке. Дальше не помню. В истории моей болезни стоит: «приступ беснования». Говорят, я покусала ее до крови. Кому-то расцарапала глаз. Кому-то оторвала рукав. Вызвали охрану, меня отвезли в спецприемник, продержали до сентября и прямо оттуда – по возрасту, как всех семилеток – отправили на поселение в Детский Город. Я знаю, бабушка добивалась права на свидания со мной, но ей отказали. Жива ли она сейчас? Что стало с картиной – успела она ее бросить в бочку с огнем или нет? Не знаю. Я жила в мерцающих оттенках зеленого, в шумном вихре мазков, закрученных против ветра, живых и грубых, царапающих пальцы.

Меня держала мечта найти то место и время, где все это происходит... Где ничего не происходит. Это означало – найти художника, который все это нарисовал. А раз найти его не смогла даже тайная полиция, я стала искать его в себе. Карандаш как-то незаметно прирос к моей руке. И так я ощупывала мир: я думала карандашом по бумаге, видела карандашом по бумаге – и по-другому уже не умела.

Когда мне исполнилось четырнадцать, мастерица подала в Епархию просьбу-рекомендацию принять меня в школу юных иконописцев при местной церкви. Я обрадовалась: там будет все по-взрослому, все иначе – настоящие краски, ма-

териалы. Все всерьез, как в артели у отца. С нетерпением ждала ответа из Епархии – когда же, когда... Месяц прошел, и вдруг объявляют этот закон. Закон о Второй Заповеди. Запрет на образа.

Это было два года назад. С тех пор – «ни зверя, ни человека, ни ангела, ни духа».

На школьном дворе несколько дней пылали костры из наших рисунков, книжек с картинками, плакатов, размалеванных и гравированных досок, гобеленов, штампованных иконок, статуэток, – а мы все несли и несли, и они все не кончались... Вся анимотека была перевернута вверх дном, от мультфильмов ничего не осталось. Но дети ликовали. Это были несколько счастливых дней чистого разрушения. Дымы вились над холмами Детского Города, пепел и копоть носились в воздухе, черные хлопья покрыли сады и парки, скамейки и дорожки, на месяц хватило работы дворникам. И когда наконец все было вынесено и сожжено, дети еще долго не могли успокоиться: кто тащил двуногую корягу из живого уголка, кто – любимую куклу, кто – семейную фотографию. Но взрослые нам объяснили, что игрушки, коряги и фотографии не запрещены законом.

«Чем отличается детский рисунок от детской игрушки? – говорил Ментор. – Рисуя нечто живое, телесное, с глазами и чертами, вы искушаетесь, поскольку создаете характер, и характер этот легко принять за душу – вот и ловушка! Никто не может вдохнуть душу в творение, кроме Господа. А игруш-

ку штампует машина. Понимаете разницу? То же и фотография. Это просто механика: щелк на кнопку, и все. Помните, что душа человека – это для нас вдох. А для Бога – выдох. Метафизическая циркуляция духа. Душа человеческая – выдох Бога. Но что может выдохнуть человек в свое так называемое творение, кроме углекислого газа? Посему сказано: не делай себе никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, ибо в Судный День великому мучению будут подвергнуты художники!».

Рисование было повсеместно запрещено. Нет, конечно, что-то осталось. На уроках женского ремесла мастерица задавала нам придумывать разные узоры – геометрические или из цветов и листьев, по которым мы затем делали вышивки, плели из бисера, расписывали по тарелкам. Иногда было задание: сочинить орнамент для фигурной решетки, оконного ставня или печного изразца – тут следовало угодить мужскому вкусу, потому что эскизы отдавали мальчикам, чтоб уже на своих уроках они по нашим рисункам гнули металл, точили дерево, выпекали кафель. Иногда мы рисовали перья птиц. На павлиньих перьях есть глаза – ненастоящие, вроде маскарадных. Это можно. Некоторые цветы тоже выглядят как очи. А бывает что и похожи на фигуры людей, зверей, ангелов и бесов. Таковы орхидеи. Их рисовать – только по особому разрешению. Самый безопасный для рисования цветок – роза. Ничего в нем нет человеческого, одна завернутая внутрь спираль. Чистая математика.

Математика – это хорошо. Хоть и умный предмет, а богоугодный. Так говорит наш Великий Государь Помазанник в своем Послании «О пользе и вреде знаний», которое каждый год, 1-го сентября, мы заслушиваем на торжественной линейке.

«В математике нет символов для неясных мыслей. Она не искусит тебя пустословием и мудрствованием лукавым. Она речет на языке идеальных форм и чисел, которые суть отблеск Божества. Ибо это единственная наука, что стоит посредником меж духом и материей и позволяет слабому человеческому разуму воспарить, но не вознестись, понеже паки и паки преподносит ему урок смирения пред лицом бесконечности и величием Божьего замысла.

Смирись и возрадуйся! Не каждый способен к наукам – но каждый способен к полезному труду. Задача школы – обнаружить и развить твои способности, обучить ремеслам и дать знания, которые послужат дальнейшему процветанию и укреплению Нашего Великого Государства во славу Нашу.

Вот единственная практическая цель существования умных предметов и отраслей знания, по большей части бесполезных для духовного воспитания. А иные, о коих умолчим, и вовсе способствуют развращению умов и падению нравов. Вы знаете, что случилось с нашими внешними врагами, – все они, молясь на так называемый научно-технический прогресс, погрязли в обезьяньем позоре своих богомерзких уче-

ний и так оскотинились, что мы вынуждены были огородиться от них нашим Великим Чеканным Окладом. Но с высоты дозорных башен мы зорко следим за ними – и что говорим? Правильно. Слава Богу! Хвала Всевышнему, что хранит благословенную Нашу Державу и помогает уберечь возлюбленный Наш народ от испарений трупного яда, которым насквозь отравлен воздух внешнего мира.

Сказано в Писании: «Начало мудрости – страх Господень», и яко Мы, по высочайшей воле Нашей, страх имеем, тако даруется Нам и мудрость в державном управлении и духовном окормлении народа Нашего возлюбленного. Недаром одной из первых и мудрейших реформ наших стала реформа образования: из школ Мы изгнали все богопротивные науки и сатанинские учения, предав их забвению.

Но сие лишь начало пути: еще многое предстоит совершить во славу Нашу. Вы еще увидите великие чистки и благодатные кары – скоро, скоро грядет новая эра целомудрия, поелику страх и мудрость Наши возрастают и взывают к решительному действию. Возлюбленный Наш народ! Возрадуйся! Скоро, скоро вся твоя жизнь станет одним страхом Божиим, а все грехи твои, яко багряные, как снег убелятся. И так унаследуем Царствие Небесное!».

Я не осмысливала всех слов, но звуки впивались в мою душу и, будто кристаллы, распускались ледяными узорами по всему телу, вызывая дрожь. Дрожь и восторг – и сострадание ко всем детям внешнего мира: как они там, в миазмах

трупного яда?.. Почему-то представлялись мне они все какими-то формами без движения, вроде зародышей, которые лежат полумертвыми в зловонных ямах, во тьме, поодиночке, и даже стонать не могут от недостатка сил. О, если бы слышали они животворный благовест колокольных звонов или песни муэдзинов на восходе луны! Узрели светлоогненный лик Стожильного Государя!

Еще до Закона о Второй Заповеди впервые пыталась я срисовать с фотографических портретов его черты: пухлые младенческие ланиты, золотые уста и газовые очи... Но Ментор сразу мне указал, что не следует рисовать Государя никому, кроме изуграфов с лицензией, а тем более – детям неразумным, мол, кощунство это. «Носи его здесь, – он приложил к своей груди руку. – И не дерзай уловить на кончик грифеля образ того, кто повсюду». Да, Государь, – повсюду. В цитатах, портретах, речах и песнях, на всех экранах, во всех фильмах и книгах, в молитвах и учебниках... Хрестоматия русской литературы наполовину состоит из его великих произведений, а наполовину – из текстов о нем: хвалебных од, гимнов, биографических рассказов. Вчера, например, мы писали изложение по отрывку из романа Добрыни Портного «Колоб света».

«Люблю! Люблю этот младенческий круглый лик, в своем мерцании переходящий все возрасты. Этот колоб света, плод непорочного зачатия... – читала наша маленькая горбатая русица, похожая на сову, вцепившись в книгу, как в добычу,

крючковатым носом водя по строчкам. – О, великий, сияющий, стоочитый, стожильный царственный младенец! Окропи золотой уриной наши сердца! Бей фонтаном агиасмы по черным врагам Отечества! О, метафизический уд в трех ипостасях войны – в битве за кровь, за слово и за время. Разве не благодаря тебе мы победили прошлое и будущее, перемолов его словом и оросив кровью? Явив изумленным народам наш уникальный исторический миф. Нашу великую русскую судьбу. Наш особый духовный путь по кругу, путь-хоровод. Разве не каждая девица вожделеет понести от тебя, чтобы иметь тебя во чреве своем?»

На этом месте несколько человек захихикали. Русица пронзила класс дальнотормыми хищными глазами. Все обмерли, как мыши. Она продолжила: «Но чу! Я вижу парад всеобщего счастья, я вижу возрождение Государя в новой ипостаси: он восходит на трибуну в красном плаще – и народ благодарно плачет».

7. Хаканарх

Леднев прошел в кабинет, сияющий после утренней уборки, как зеркало. Бросил деревянную звезду на цветочный столик. Размотал шарф и, выпучив глаза, на пару секунд замер перед стеной с биометрическим распознавателем.

– Идентификация подтверждена, – сказала стена, просканировав его радужную оболочку, и открыла доступ к панели управления, где, в свою очередь, стоял еще один замок – тактилоскопический сенсор. Леднев ввел цифровой код.

– Идентификация подтверждена. Код верен. Доброе утро, Дмитрий Антонович! Включить рабочий режим?

– Нет, – язвительно проворчал Леднев. – Я просто так с этими уровнями защиты бодаюсь каждый день. Станные вы вопросы задаете, барышня.

– Не понимаю ответа. Повторяю вопрос. Включить рабочий ре...

– Да, да. Будь так добра. Это шутка была. Шутка. Дожил – со стеной по душам разговариваю...

– Я понимаю, что такое шутка. Ха, ха, ха. Рабочий режим включен. Включить систему хирургического ассистирования?

– Валяй, – сказал Леднев, снимая мокрое пальто и встряхивая.

Из рукава что-то выпало. Какая-то бумажка. Видимо, за-

билась с ветром и мусором, когда он бежал к Чангану от сувенирной лавки «В гостях у сказки». Нагнулся, поднял, развернул. Листовка.

«Воспрянь, человек! Хаканарх идет! Всеочищающий ураган гнева и справедливости! Слышишь? Слышишь роковой этот рокот и скрежет великого горизонтального колеса? Чувешь? Чувешь этот воздух – свежий, грозовой, электрический воздух свободы? Это – Хаканарх, его поступь и дыхание! Это – буря, в черных тучах закипающая буря народного терпения и слез. Сегодня разразится она молниями и ливнями – и закрутится ураганными вихрями – и сметет всю неправду, на длинных ходулях которая извеку ходит над нами и топчет нас. И грянет за ней война великая, страшная, последняя брань между небом и землей, как обещали нам старцы. А за войной придет голод людоедский. Но и война, и голод будут нам во спасение – как сказал схиархимандрит Христофор: «если не будет войны, то плохо будет, все погибнут. А если будет война, то недолгая, и многие спасутся, а если не будет, то никто не спасётся»...

– Что за...

Леднев разорвал листовку на мелкие кусочки и бросил в корзину.

Никогда, ни на секунду он не забывал про встроенную в линзу камеру: все, что он видит, – видят и они. Дурманы. Невидимки.

Но каков слог! И что-то в нем неуловимо знакомое. Эта

пышная кровожадная лексика, эти синтаксические инверсии, которые вдруг ломают весь речевой строй, из-за чего кажется, что текст написан роботом... Ну, конечно! Это же типичный образчик государственной литературной компьютерной программы «Русский стиль». Никакие анархисты не стали бы так изъясняться. Тем более, хакер-анархисты. Они говорили бы на языке молодежи, на этом гнусном чечено-китайско-старорусском волапюке, которым пользуется поколение Глеба.

– Дмитрий Антонович, поступил новый запрос на прием, – сказала стена.

– Что там?

– Консультация. Клиентка – Семицветова Анна Игнатьевна.

– Когда она хочет?

– Сегодня.

– Ну, так назначь ей. Согласуй там с графиком. У меня, вроде, как раз два окна сегодня, – он переоделся в медицинский халат.

– Система приведена в готовность, – сообщила стена. – Дмитрий Антонович! У вас очень грязные туфли. Включить антисептик?

– Включи. Включи, дорогая, – пробормотал Леднев, закидывая руки за голову и прикрывая глаза.

Зачем она притворяется заботливой женой? К чему эти фразы про туфли? Антисептик включается автоматически,

как только надеваешь халат, – каждый дурак это знает. Но они зачем-то поставили мне эту пошлую программу «женская забота», которая задает кучу бессмысленных «человеческих» вопросов.

Слава богу, систему хирургического ассистирования он сам отрегулировал с установщиком – и сделал ее максимально молчаливой, никакой симуляции эмоций, кроме чрезвычайных ситуаций, когда роботы обязаны вопить о неполадках.

Леднев включил режим «контроль», прошел из приемного кабинета в смотровую и оттуда, через дезинфекционную камеру, – в операционную. Все ассистенты были на местах. Анестезиолог – многосуставная клешня на колесах – загружал в себя патронташ из шприц-тюбиков. Зеленым светом мигала беспроводная липучка-анестезистка, настраивая программу пульса. Жужжали дроны-медсестры. Еще одна клешня – разветвленная в три руки – закладывала в свои секции упаковки ватных тампонов, наборы скальпелей, пинцетов и перевязочных лигатур.

Тут же, в операционной, за лазерной решеткой, высилась бесконечная передвижная башня клон-банка. Леднев ввел через линзу код отмены охранной сигнализации, включил режим «расписание операций на сегодня» – пронаблюдал, как ячейки с нужными номерами выстроились в нужный порядок, дал команду «верно» и снова закрыл решеткой.

Все готово к работе. До первого пациента осталось десять

минут.

Он вернулся в приемную, сел за стол, снова вытянул ноги и погрузился в нейрограмму допроса зэка-1097.

8. Смерть на Вихляйке

– Се чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, не усрамяся, ниже убойся, и да не скроеши что от мене...

Голос у отца Андрея напевный, медовый. Хорошо, что сегодня он служит. Он добрый и лицом красив, не то что отец Григорий, с красным носом и курьим глазом, волосы маслом смазаны, сам весь раздут от сала и важности, а шея тонка, яко кишка. И злющий – жуть! А то пришлось бы этому индюку исповедоваться в своих художествах. В прошлый раз он как услышал, что имею тайный грех рисования, – так аж затрясся весь, как медный чайник на огне, и епитимью наложил. Андрей не наложит... А хоть и наложит, от него и наказание в радость...

Вот первый кто-то пошел к аналою, исповедь началась, а я и не заметила, как пропустила все чинопоследование. Благо, моя очередь еще не скоро.

Страшно мне опять. Сколько раз я уже каялась и твердила «больше никогда» – а все повторяется, значит, живого раскаяния нету. А вдруг на этот раз отец Андрей рассердится? Вдруг закричит: «Упорствуешь!». Интересно, как он сердится? А если утаить? Скажу про другие грехи, а этот как бы забуду.

Не рассказываю ведь я, как мы по ночам с Ритой развле-

каемся... Или вон, Демьян Воропай – вряд ли ведь признается в преступном одиночестве и рукоблудии... Хотя про рукоблудие мог тогда и наврать. Зачем? А поглумиться. То-то зыркал на нас с Ритой – как нам рожи светло. Нет, вот он-то как раз в охотку и рассказывает кротчайшему отцу Андрею о своих пакостях. В деталях. И присочинит еще сверху.

Нет, нельзя утаить. И думать о том не смей. Как потом в обмане причащаться?

Ира Левицкая идет к аналою – как белая овечка к жертвенному алтарю. Это надолго... Почему самые невинные дольше всех исповедуются? В чем ей каяться? Видно, перечисляет всех букашек и клопов, которых раздавила в постели. А нам тут стой, жди, трясись.

Все, наконец епитрахилью ее покрывает отец Андрей. Я за ней. Моя очередь.

Подхожу.

Хотела начать с грехов против ближнего, но вдруг сразу выпалила:

– Образы рисовала.

– Опять? – отец Андрей даже как будто хочет засмеяться, но сдерживается.

Но не сердится:

– Что за образы?

– Разные. Ангелов, людей, животных всяких...

– Ангелов какого чина?

– Не знаю. Просто ангелов. С крылами.

– Грех это, – как бы опомнившись, говорит Андрей и задумывается.

– А выражение лиц какое? – спрашивает затем потише, с любопытством. – Грустное, радостное, злое?

– Не знаю... Пожалуй, никакое. Спокойное. И немного строгое, – я тоже перехожу на шепот.

– Грех это, – повторяет он мягко. Будто я сама не знаю! Конечно, грех...

Смотрит внимательно. В глазах огоньки от свечей. Улыбается:

– А людей? Тоже просто людей? Без имен?

– Нет... С именами.

– Мужеского полу?

– Всякого.

– Прелюбодействовала с кем-нибудь из них в мечтах?

– Нет. То есть... Я не знаю... Один из них... Мне хочется зачем-то, чтоб он меня любил. А он только шутит. И я от этого злюсь. На всех. Такая злая стала! Всех мысленно браню и осуждаю. Вот про нашего отца Григория недавно думала: индюк.

Отец Андрей смешливо вскинул брови, но вовремя поджал губу и снова повторил:

– Грех это.

Вот заладил! Что же я, сама не знаю? Иначе бы за чем говорила? Это как если бы на уроке географии задание было перечислить страны, какие знаю. И я бы называла: Австра-

лия, Китай, Идель-Урал, Междуморье, Турция... – а учитель бы всякий раз мне такой: страна это, страна это... Так я о чем и говорю: страна! Задание такое – страны называть. А тут задание – грехи, вот я грехи и называю.

Опять грешу, теперь вот ругаю духовника. Сказать ему? Не буду, а то как Ира Левицкая стану поперек всей очереди костью в горле.

– Все у тебя, чадо? – спрашивает.

– Все, батюшка.

– При тщеславных помыслах молитву святого Иоанна Кронштадтского читай – и буде с тебя. Она краткая. Иисусову молитву не забывай на любой случай. А образы уничтожь в отхожем месте и боле не рисуй. Порви и смой. Обещаешь?

– Да, батюшка.

– Голову склони. Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия...

Выходишь после службы из храма, а внутри еще долго песнопение какое-нибудь разливается – Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, или Символ веры, или Богородице дево, радуйся... Идешь, идешь, а оно звучит, звучит... Горло дрожит, безгласно подпевает, в ноздрях – курение древесного масла. И так на всем пути, до самой школы. Вроде бы идешь – а вроде там еще стоишь... А лучше сказать – несешь с собой храм, вместе с хором и елеем... Благодать!

А на улице ведро и благорастворение воздушных: мороз и

солнце, день чудесный – как писал когда-то штабс-капитан пехоты... Не помню имени, кудрявый такой, смуглявый.

Но то был обман погоды, коварство умирающей зимы. Неделя серенькой оттепели – потом дрязга на двое суток, и вдруг небо разоблачилось, и солнце засияло, воздух затрепал – но лед на реке успел уже подтаять за неделю и не успел схватиться заморозком за день. И вот эти дуры побежали по льду, чтобы срезать путь до школы. Хотелось им быстрее.

Две провалились. Таня Куриленко сразу канула. Вторая – Люся Городец – чернела черной точкой в полынье, хватаясь за края. А третья – Ира Левицкая – ей повезло: под ней не треснуло, она стояла в двух шагах от полыньи, где чернела Люсины голова, – страх приморозил ее к месту. Мы видели с берега только узкий силуэт, поникший, сгорбленный. Как обгорелая спичка.

Первым побежал Ментор. Скинул шинель, пиджак, рубашу, все до исподнего, принялся было разматывать портянки, но бросил и помчался так. Полосы портянок взвивались следом, тяжелея с каждым шагом от налипающего снега. Но и десяти шагов не сделал: едва только забереги пересек – как провалился. Морковка заголосила: «Тонет, тонет, помогите! Сергей Владимирович, миленький, держитесь! Кто-нибудь!». Пока Морковка, ослепленная горем, бегала по берегу туда-обратно и расцарапывала щеки на лице, Ментор каким-то одним ловким движением перекатился из полыньи на лед и стремглав помчался дальше, к цели. Морковка,

протерев глаза от слез, видит: полынья пуста – и как завоет: «Утону-у-ул! Сергей Владими... Господи! Сережа!.. Утонул!..» – не замечая, как Ментор, стремительно удаляясь, бежит живехонький по льду реки, весь красный, словно кипятком ошпаренный. «Вот же он! Живой! Вон там, вот там, смотрите, Ольга Марковна!» – закричали ей со всех сторон. И тотчас Ментор снова провалился. Ухнул под лед с головой. Вынырнул. И завозился в густой воде, как муха в киселе. «Да что же это?!» – Морковка закрыла ладонями лицо и хлопнулась пышным задом в снег – аж юбка вздулась шаром. На этот раз Ментор застрял. По его тяжелым, вязким движениям было видно – изнемог. Он пытался выскользнуть из полыньи, по-тюленьи наползая на лед, – но лед под ним гулял и ломался.

Вдруг из толпы выскочил какой-то старшеклассник, мигом разоблачился, выдернул из штанов ремень и, намотав на кулак, побежал к реке, сверкая в солнце жемчужными мускулистыми статями. Все закричали: Тимур! Тимоха! Давай-давай!

Он двигался мощно и грациозно, как дикая кошка на мягких лапах, – длинными прыжками домчался до лунки Ментора, лег плашмя за три локтя и бросил ему конец своего ремня, но Ментор не взял, а сердито закричал что-то, затряс сосульками волос, кивая в сторону девочек: мол, не меня спасай, а тех...

Про тех уже все забыли.

Я посмотрела на них: Люся все еще держалась, откуда только силы? Такая хрупкая, малахольная, всегда последняя на физкультуре. А Ира так и стояла рядом спичкой, в той же позе. Уж не померла ли стоямя?

Здесь, у подножья Храмовой горы, река Вихляйка вширь берет, а зимой, засыпанная снегом, кажется бескрайней, сливаясь с дальним пологим берегом и как бы продолжаясь в нем до горизонта. Посередине реки обычно темнеет несколько промоин – в том месте лед как промокашка, слабый, рыхлый. Видимо, там проходит быстрина, бурное течение точит лед даже в сильные морозы. Как раз в полосе промоин они и находились. Если такие щепки, как Люся с Таней, там проломили лед, – что же будет с Тимуром? Он по весу как раз за двух за них сойдет.

Не знаю, что на меня нашло... Как будто ноги сами понесли. На ходу платок размотала, сорвала с головы... Бегу – а вслед Морковка: «Дерюгина, куда?! Назад, вернись на место!». Поздно.

У Люси – сизое лицо без выражения: все мышцы и зубы дробно трясутся с частотой какого-то заводного механизма, глаза остекленели. «Хватайся за платок! Люся! Пожалуйста!» – прошу я. Она не реагирует. Наконец просовывает вперед прозрачную паучью лапку и вцепляется в платок. Но только я потянула, как он выскользнул из ее окоченевших

пальцев. Я снова бросила, но Люся уже была где-то далеко, она словно задремала, голова ее откинулась назад и легла на воду с какой-то успокоенной, нежной улыбкой.

Непонятно было, что делать дальше. Я лежала ничком на ледяной каше и звала: Люся, Люся! Одежда пропиталась снизу водой, обкладывая тело холодом, как глиной... А Ира Левицкая все стояла рядом, застыв над нами черной тенью, как смерть. Смерть... Это была даже не мысль, а внезапная тоска, словно в груди пошевелилось что-то гнусное, вялое – и сразу все показалось напрасным... Было и другое – досада на себя, неловкость за свой порыв – зачем так выделилась, если ни на что не пригодилась? И что теперь – бесславно отползти? Вдвойне позорно... Лучше замерзнуть тут с ними, умереть. А даже если все мы тут умрем, – вдруг явилась простая мысль, легкая, ясная, – разве сейчас не лучшее для этого время? Самая пора! Ведь мы все только-только причастились. Чего ж бояться? Никто же да убоится смерти, свободы бо нас Спасова смерть...

Я проползла на локтях вперед, протянула руку к Люсе – и провалилась. Ледяная вода клецнула над моей головой, как челюсти.

9. Автограф со слезами

Дверь жахнула, и в кабинет ворвался какой-то стихийный человек.

Это был высокий, идеально сложенный, суетливый и ловкий господин – при входе уронил вешалку и успел ее поймать на лету, словно жонглер ухватив тремя руками падающие вещи. Точно и аккуратно вернул все на место. Улыбнулся по-детски широко и беззащитно:

– Ох, извините, ради бога! Я опоздал, такие пробки сегодня, погода как взбесилась, вы тоже попали в метель? Нет, ну где это видано – метель в сентябре?

– И не говорите, – ответил Леднев.

Он развернул экран с графиком дня. Так, это у нас кто... Господь всеблагой! Это же сам Николай Верховцев! В народе – Коля Трехочковый, легенда баскетбола, многократный чемпион Внутреннего Мира, член зала спортивной славы России, герой физического труда и совершенства, как же я...

– Как я мог... Как я мог вас не узнать, – пробормотал смущенно Леднев, вставая и отдавая посетителю спортивный салют. – Как я... Нет. Просто не верится... Это вы? Это правда вы – Коля Трехочковый? О! Что это был за матч! Что за бросок! Это было что-то невероятное... На последних секундах! Бросок с сиреной! И – оп-па! – он даже подпрыгнул, изобра-

зив руками бросок. – Так чисто, не касаясь дужки, с таким нежным шорохом – шших! – и точно в корзину!

Верховцев покраснел до слез и с восторгом воскликнул:

– Нежный шорох! Как хорошо вы сказали! Я до сих пор слышу его... – этот нежный, с захлестом, шорох сетки, когда сквозь нее проходит мяч... Словно сквозь сердце... Боже, что за звук... Божественный звук! Сколько же лет с тех пор прошло...

– Пятнадцать.

– Пятнадцать! Вот ведь... А как вчера! И все еще помнят люди! Помнят... – с умилением загрустил Верховцев. – Ручка у вас есть?

– Ручка? Какая ручка?

– Вы не приготовили ручку? А как я тогда вам автограф дам?

– Ах, это. У меня вот... Инк-стилос. Завалился.

– Это же американская модель?!

– Китайская.

– Но содрали-то у пиндосов? А? Вот китаезы, да?.. Тоже мне братки-союзнички, одно название, да? Сколько волка ни корми...

– Завалился, – повторил Леднев раскаянно.

– Так это... На чем расписаться?

Леднев снял медицинский колпак с головы:

– Здесь, пожалуйста. Напишите: Глебу. Это мой правнук... Когда-то баскетболил, хотел стать такой же звездой,

как вы.

– О, правда? В вас, небось, ростом пошел?

Леднев засмеялся:

– Верите ли, в детстве я ненавидел свой рост. Мне кто-то сказал, что таких длинных не берут в космонавты. А я, представьте себе, мечтал полететь на Луну.

– На Луну? – удивился Верховцев. – Зачем?

– Это была общая мечта всех мальчишек моего времени. Знаете, Лунная программа и все такое. После полета Гагарина о чем еще можно было мечтать? Только о полете на Луну.

– Гагарин, – озадаченно произнес Верховцев. – Гагарин. Знакомая фамилия. Был у нас в команде один Гагарин. Маленький такой клоп, а прыгучий, и так с мячом слипался, что поди отними. Неплохой был игрок, да... Значит, кому?.. Как, вы сказали, зовут вашего парня?

– Глеб. Он ваш преданный фанат. Был легким форвардом в школьной команде... Потом в универе... Рост два метра пять, очень был хорош в передней линии атаки. Сейчас-то, конечно, не играет, не до того – работа, дела...

Верховцев, одобрительно кивая, расписывал колпак старательными каракулями, но вдруг, на последних словах Леднева, бросил ручку, уронил голову в ладони и беззвучно зарыдал.

– Что с вами? – всполошился Дмитрий Антонович. – Дорогой мой! Что такое?

От его сочувственного голоса Верховцев не успокоился, а

наоборот, впал в совершенное отчаяние. Не справляясь со слезами, он схватил колпак с автографом и прижал к лицу.

– Мой сын... Мой сын... – всхлипывал он. – Помогите мне... Я не могу... Я этого не выдержу...

Леднев поднес ему стакан воды и деликатно похлопал по плечу:

– Ну-ну... Не надо, не надо. Я помогу вам, помогу, обещаю. Что случилось? Расскажите.

– Он погиб. Наш единственный мальчик. Три дня назад. Я не знаю, как дальше жить. Моя жена третьи сутки ничего не ест, не спит и молчит. Он был такой... такой... Таких не бывает... Прошу вас, клонируйте его! Верните мне его! Вы ведь можете, правда?

Леднев с тяжелым вздохом потер переносицу:

– Нет. Тут я помочь не могу. Репродуктивное клонирование человека запрещено Духовным Комитетом.

Он почти не врал. Клонирование человека действительно было запрещено. Всякого человека, любого. Кроме одного единственного – Государя-Помазанника. Да и в самом деле, кто бы осмелился сказать, что Государь – это какой-то там «всякий, любой»? Никто.

Тем более, что никто и не знал об этом – кроме особо секретного спецотдела ОТО (Охрана Тела номер Один). В народе, конечно, ходили слухи, будто бы у Государя есть клоны, – но слухи эти ходят испокон веков, как байки об ино-

планетянах и шпионах-андроидах, и давно перешли в разряд фольклора. За все годы работы Леднева в клинике было лишь три случая, когда к нему обращались с такой просьбой: в первых двух это были такие же, как Верховцев, осиротевшие, обезумевшие от горя родители – второй из них дался ему очень тяжело, пришлось даже вызывать охрану. А третий случай – почти анекдот: красавец-альфонс, женатый на миллионерше, который мечтал, чтобы клон выполнял его супружеские обязанности, пока сам он будет наслаждаться обществом друзей и юных дев.

«Дорогой мой, – сказал ему Леднев. – Кроме того, что это незаконно, это еще и глупо: неужели вы думаете, что ваш клон появится из пробирки, как гомункул – сразу в виде вашей готовой взрослой копии? Его ведь нужно, как минимум, двадцать лет где-то растить, а вас все это время регулярно омолаживать, ведя довольно сложные биохимические расчеты, чтобы в итоге ваши возрасты совпали. Я уж не говорю о том, что когда ваш клон созреет, вдруг может оказаться, что он совсем не горит спать с вашей престарелой женой и быть вашим алиби. И вообще быть с вами заодно. Вполне возможно, что ему, наоборот, очень захочется стать вашим злейшим врагом. И что тогда, а?».

И все. Не надо ничего говорить о морали. Аргумент к закону тоже часто не действует. Чтобы человек оставил свою безумную мечту, иногда достаточно показать ему краешек экзистенциальной бездны, в которую он ввергает себя этой

мечтой.

Иногда – да. Но не в случае с Верховцевым.

– Не понимаю, – твердит он. – Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы же обещали помочь, вы же сказали...

– Я помогу вам. Но в пределах закона. Если вы не можете больше иметь детей, вы их сможете заиметь благодаря нашему методу...

– Нам не нужны другие дети! Как вы не понимаете? Нам нужен только он...

– Послушайте. Клон – это лишь внешнее подобие. При всей своей генетической идентичности это будет совсем другая личность. Отдельная воля. Другое сознание.

– Пусть будет! У меня есть деньги! У меня три усадьбы – я все продам! Только верните мне его!

И вот тогда ничего не остается, кроме как повторять аргумент к закону. Тупо повторять, раз за разом, невзирая на все мольбы:

– Это противозаконно. Это нельзя. Запрещено. Нам никто не позволит. Ну, сами посудите, как? Вы же знаете: Комитет нас видит и слышит. Вот прямо сейчас.

– Тогда пусть Комитет ответит, почему какого-то дохлого пекинеса можно клонировать, а нашего мальчика – нет? – Верховцев выхватывает из кармана мятый рекламный буклет «Доктора Айболита» и бросает на стол Ледневу.

Что ж такое, опять этот «Доктор Айболит», он меня сегодня преследует, что ли?

– Потому что, – медленно и устало говорит Дмитрий Антонович, отправляя буклет в измельчитель, – человек сложнее пекинеса. Вы едва ли сможете отличить, что вам подсунули: другого пекинеса или копию вашего. Он будет так же гавкать и вилять хвостом. Перемены его характера и привычек вы отнесете к каким-то загадочным свойствам его звериного естества. Мало ли что взбрело в голову собаке? Но человек – не собака. Имей вы близнецов, вы бы очень скоро заметили между ними разницу. И точно так же вы сразу заметите разницу между вашим любимым сыном и его клоном. Даже если вам очень хочется обознаться. Но, видите ли, чем больше вам хочется обознаться – тем большее будет прозрение.

«А ведь и впрямь забавно, – вдруг подумал он. – Что человеку запрещено, то разрешено зверю и Помазаннику».

Он представил, как произносит ту же речь над Телом Номер Один: «Перемены его характера и привычек вы отнесете к каким-то загадочным свойствам его звериного естества». Леднев встряхнул головой: прочь, прочь, крамола. Я всего лишь веселый авантюрист в этом море грязной пены.

Выпроводив беспокойного посетителя ни с чем, Дмитрий Антонович снова развернул текст нейрограммы и заставил себя вернуться к чтению. Подспудно его что-то тревожило в этой расшифровке. Что-то не предусмотренное им, не заложенное в ожидания. Что-то в душевном устройстве этой дикой зонной девочки... Он пытался понять: насколько

эта сложность правдоподобна? Вспомнить: насколько он сам был сложен в свои шестнадцать? Вспомнил – и ему показалось, что тогда он был гораздо сложнее, чем сейчас. Но куда охотнее он вспомнил бы себя другим, тем, кем он был еще до ломки голоса, – совсем простым, маленьким и ясным. Зачатком человека.

10. Прозрачный изолятор

Люся утонула сразу, как только я провалилась, сломав под нами лед. Ее и Куриленко Таню потом нашли по светлякам.

А меня и Левицкую Иру спасла береговая охрана. Не помню, как. Очнулась я уже в больнице.

На другой день мне передали посылку от девочек – медсестра принесла в палату, показала, но не отдала (нельзя до выписки): банку клюквы в сахаре, моченые яблоки, несколько разноцветных лент с подписями и деревянную коробочку-головоломку – это, конечно, от Риты. Видно, вещь из тех заморских сувениров, которые отец привез ей из недавнего плавания. У Риты уже были такие шкатулки с невидимым замком – она отдавала их на круг, и мы всем классом искали «ключ», кто первый справится, тому и награда. Внутри коробочки обычно лежал какой-нибудь сюрприз: шоколадный орех в съедобной бумаге, или желатиновый червяк, или магнитик, или еще какая-нибудь невиданная чепуха, и Рита всегда великодушно оставляла награду победителю. Хотя и само разгадывание уже было наградой, но теперь она всё отдала мне – и загадку, и заключенный в ней подарок. Мне стало совестно: зачем я злилась на нее и обзывала в мыслях дурой?

Лечили меня какими-то вонючими отварами, ставили припарки из печной золы и прокаленного песка, из горчиц-

ного семени, овса и отрубей. Огненные банки, водяные грелки, компрессы с хреном – все как положено. Однако я ни то ни сё – не поправлялась и не кончалась, а только вдруг по роже огники пошли, и с подозрением на корь меня перевели в инфекцию.

И вот я здесь – который уже день по счету, не знаю.

Инфекционное отделение – место особое, все об этом говорят: здесь в палатах лежат поодиночке. И всегда мне казалось большим везением попасть сюда, всегда было любопытно: как это – жить неделю-две, а порой и месяц в одиночестве? Как это возможно? Оказалось, что никак. Уединение здесь невозможно. Инфекционный изолятор – самый просвечиваемый из космоса объект. Да и космоса не нужно: все стены здесь стеклянные, все палаты видны насквозь из любой точки обзора, каждый угол как на ладони. Здесь, как нигде, ты чувствуешь себя беспомощным и голым: одежду отобрали, ходи в срамной рубаше с завязочками на спине и всякий божий день при осмотре заголяйся... И каждый из своей стеклянной клетки позор другого видит. Даже в туалете не закрыться – справляй нужду в горшок за шторкой на корчах.

И жар. И все в каком-то отвратительном бреду.

То крутит меня, то выжимает – то озноб, то огневица, то сон, то явь, то лицо врача, то рыло демона, и что-то говорят, смеются, то день, то ночь, и снова чьи-то лица, разговоры, вопросы «как самочувствие?», «ну-с, посмотрим», «был се-

годня стул?» – какой стул, к чему все это, где я, зачем, что происходит, когда все это кончится? Никогда.

Ночь. Все время ночь. Сколько она длится? Где я? Кто я? Что со мной? – будто придавило бетонной плитой, ни шелохнуться, ни позвать на помощь – лежу как на дне шахты, а потолок – ш-шух – лифтом вверх, стены – крак – и вдруг сместились, и лезут на меня, кривоугольные, косые – все теснее, теснее, душат, сдавливают, давят, давят, сжимают, давят, трещат, господи, не надо – кости выворачиваются, хрустят, хр-рустят, зубы з-з-зубы кр-р-рошатся – не надо – все крошится, разламывается, дробится на осколки, где я, где стены, какие стены, что такое я? – я гряда, перемолотая гряда камней, гора обломков, я шершавое, толченное стекло, песком и гравием забитый рот, я гора булыжников, меня все больше, больше, и сверху рушатся, сыплются ковшами камни, словно какой-то исполинский экскаватор работает извне, огромная клин-баба разбивает твердый мир, крушит, дробит, долбит – и это тоже я, все камни с неба – тоже я... Я и не я. Где я? Кто я? Что я? Ты больше ничего, нигде, ты умираешь – отозвалось что-то. И стало вдруг тихо и пусто. Словно дунуло – и все исчезло: твердый мир, раздробленность, булыжная телесность. Какое облегчение, спасибо, Господи, как хорошо. Вот только жизни жаль. Куда она теперь? Зачем все это было? Предчувствие, разлитое повсюду, – подкожный трепет мира, облаченная в нищенские ризы тайна...

Весь Божий мир – тайна, и вот она уходит от меня, сейчас закроет дверь, и я останусь в черной комнате смерти, здесь так пусто, так бесконечно пусто... Господи, как пусто. Как бесконечно пусто, бесконечно, бесконечно... И смысла нет ни в чем – ни в слове «смысл», ни в слове «господи», ни в слове «бесконечно»...

Черная космическая тьма, которой нет предела. Как это? Что это? Тайна – грандиозная, не востисимая ни в какое вооб-
ражение... И я ее не узнаю. Умру и не узнаю. Если бы можно было это представить – то, что представить невозможно, – не жаль было бы и умереть.

Увидеть бесконечность... Наверное, это была жажда чуда, какого-то немислимого дара – недоступного другим знания, которое утешило бы меня в смерти. Я молилась не о спасении души, нет – я выпрашивала себе у Бога этот последний дар истово и жадно, повторяя всем сердцем: покажи, покажи! Бог молчал. Вокруг было все так же темно, узко и донно, как в шахте. Потом что-то сдвинулось, и я начала падать – не совсем падать, потому что низ и верх исчезли, и сама я исчезла – а вместо меня возникла невесомость. То, что когда-то было мной, сжалось в точку и понеслось по черному тоннелю – при этом и точка, и тоннель составляли нечто целое, но каким-то образом одно двигалось в другом с огромной скоростью. Это продолжалось вечность – или один миг? – не знаю. Затем тоннель вывернулся наизнанку – и замкнулся в шар, вогнутый с полюсов, как яблоко. Яблоко, сверкнув от-

блеском райского сада, мгновенно сжалось в точку – снова летящую в черном тоннеле. И все повторилось. И снова, и снова, и снова – но как будто не повторялось никогда, потому что все содержится в бесконечно исчезающей, не имеющей никаких измерений точке вечности. Все. Абсолютно все.

Мое сердце плачет от благодарности: он показал! Он здесь, со мной, держит меня за руку, и теперь я могу спокойно умереть...

Свет. Тяжелый. Гирей давит на веки. Глаз не открыть.

– Подними-ка ей рубашку, Володя. Да, повыше.

Голоса плывут глубоководными рыбами. Прикосновение холодных пальцев.

– Обратите внимание, коллеги – клиническая картина: цвет и форма экзантемы, характерное слияние, распространение сыпи – все как по учебнику. На слизистой – пятна Бельского-Филатова-Коплика...

– Это уже пятый случай...

– Думаю, нам следует готовиться к эпидемии.

– Да-да, я уже доложил, там принимают меры.

Голоса скрипят, меняют тембр и темп, как будто рябь идет по ним волнами. Этот приемник испорчен, выключите звук. Уйдите. Погасите свет.

– Удивительно, что она выжила.

– А я вам говорил! Не судите по категории...

– Я по телу сужу.

– А что тело? Тип атлетический.

– Скорее, эктоморфный.

– Это общее истощение. Они живут между великими и малыми постами.

Голоса свиваются, ныряют, выплывают, тонут, отдаляются. Уходят... Уходя гасите свет. Рассеиваются, смеются вдалеке.

Приятный зимний полумрак. Вся палата видна как будто сверху и насквозь. Не так насквозь, как раньше – горизонтально, благодаря стеклянным стенам, – а вертикально, вглубь и ввысь. Вглубь я вижу цокольный этаж и печальную, озлобленную вечным девством старуху-кастеляншу, которая передает тюки с бельем своим молодым веселым товаркам – обе с крепкими короткими ногами и черноглазы. Сегодня стирка. На тюках казенные печати. На робах женщин – трафаретом номера. Кряхтят и трясутся стиральные машины, центрифуги то взвизгивают, набирая скорость, то замирают и выжидательно урчат. А рядом, если взглядом провести левее от прачечной, – морг. Три санитары маются бездельем, режутся в самодельные карты с лицевыми запретными картинками – не то что дамы-короли-валеты, а даже джокеры там есть в трико срамном, в бесовских позах скачущие, с бубенцами на рогатых колпаках. На столе расстелена газета – первая страница с фотографией Государя. Прямо на его светлоогненном лице санитары режут белково-жировой рулет и малосольный огурец. Угрюмо шутят. Чокаются колбасами со спиртом. Тут же в комнате – от пола до потолка – мо-

розильные шкафы. В одном из них лежит утопленница Таня Куриленко, со святыми упокой. В другом – Люся Городец, прозрачная, как фарфоровая чашка, с тонкой, едва уловимой улыбкой блаженства, как и подобает красавице в хрустальном гробе.

Не надо, хватит. Больше не хочу. Я не хочу все это видеть. Погасите свет.

– Что такое, дорогуша?

Надо мной склонилось бабье лицо – размытое, с каймой света по контуру, с двойными бликами в диоптриях, в марлевом наморднике и санитарном платке с красным крестиком на лбу.

– Свет. Вы клю чи те свет, – язык ворочается во рту засохшим пластилином.

– Это утро. Утро, красавица моя. Свет утренней зари.

11. Халиф навек

Так. Десять сорок пять. Через пятнадцать минут – операция по регулярному НКС-омоложению. Клиент – тот самый Икс. Чеченский халиф.

«Внимание всем сотрудникам! – раздается в наушниках. – Протокол «А». Приготовиться к слепому режиму. Ровно в одиннадцать ваши персональные линзы будут отключены. Займите места по протоколу. Повторяю. Внимание...».

Ну, сейчас пойдет потеха. Вся клиника забегает по стенам и потолку. Леднев прислушался: так и есть – носятся, топочут, дверьми хлопают. Прячутся. А то как застанет слепота в неположенном месте, будешь тыкаться по коридору и еще, чего доброго, под каблук Иксу попадешь.

И вот он входит. Коротышка с песьей шерстью на голове. В своем знаменитом спортивном костюме – лампасы, золотые позументы, серебряные газыри. По бокам от него движутся нукеры в черном. И спереди, и позади. Не меньше дюжины. Над головой кружат «ангелы-хранители» – дроны-инсектоиды. В ушах жужжит, в глазах темно.

И вся эта чертова дюжина под колышущимся облаком насекомой авиации вваливается в кабинет. У каждого нукера – сабля и пистолет. Как работать в таких условиях?

– Маршалла, профессор! Мир тебе.

– Мир тебе, почтеннейший. Скажи своим кунакам выйти подождать за дверью. Ты же знаешь. Посторонним вход запрещен. Только дроны. У нас тут режим... Стерильность... Тайна операции и все такое...

– Ай-я-яй. Ты зачем говоришь «посторонние»? Ты на что намекаешь, друг? Что я не могу доверять своим людям? Ты плохо знаешь о доверии.

– Таковы правила, – бурчит Леднев. – Только дроны.

Это ритуал. Всегда одно и то же. Сейчас он покуражится еще немного, потянет нервы, изречет какую-нибудь восточную мудрость...

– Вы слышите, что говорит этот ученый кяфир? Профессор, итить-колотить! Да я и сам муджтахид, поучение тебя!

Нукеры похохатывают.

– Пряма-таки муджтахид, – ехидно скрипит Леднев. – Когда это ты арабский выучил?

– Побурси тут еще, – добродушно скалится халиф.

Он взмахивает своей рыжеволосой короткопалой рукой – знак им уйти, и, в плотоядной улыбке щуря колючие свои глазки, говорит:

– Э! Не обижайся, Дмитрий Антоныч, дорогой! Парни устали, сутки на ногах. Хотел повеселить ребят, понимаешь, да?

Это уже его четвертая инъекция. Первая была тридцать лет назад, когда халифу (тогда еще только получившему этот нововведенный титул) исполнилось шестьдесят. Сейчас он

выглядит и чувствует себя на сорок. Лучший для мужчины его статуса возраст.

– Ну, что. Проходи, раздевайся. Железки с тела снять не забудь.

– Знаю, знаю.

К халифу летит уже парикмахер – выбрить маленький кружок на затылке, куда вскоре Леднев воткнет «Кощееву иглу». Анестезиолог готовит первую, расслабляющую инъекцию. В операционной идет проверка всех систем, за которой Дмитрий Антонович наблюдает по линз-дисплею. Рутина.

Боевые дроны-охранники тем временем рассредоточиваются по рабочей территории и, прикрепляясь к потолкам, замирают.

Наконец, все готово. Через дезинфекционную камеру автокаталка везет прибалдевшего от наркоза «муджтахид» в операционную. «Ха-ха-ха», – смеется он и что-то говорит на своем языке. Леднев различает только отдельные, самые простые, слова: мама, гора, небо, автомат Калашникова, сто процентов...

Как там было? Халиф на час? Нет, это халиф навек. И я ему обеспечу этот век. Я, который не смог даже сберечь свою Галку.

«Как же я устала стареть! А ведь это только начало», – однажды с веселым отчаянием сказала она. Ей было тогда сорок семь. Она, наверное, испробовала все «экологические»

методы омоложения. ВЗ-диета, холотропное дыхание, лечебное голодание, йога, плавание, бег по утрам, фармакологическая очистка организма, медитация, прыжки с парашютом... Одна беда – она быстро теряла ко всему интерес. Всегда одно и то же. Сначала: «Димка, ты не представляешь, как это круто! Я будто сбросила десять лет!». Потом: «Хожу-хожу – а толку? Я потратила год на то, чтобы моя задница подтянулась на сантиметр». И наконец: «Дима! Я поняла одну парадоксальную вещь. Все эти методы омоложения – для молодых. У них есть время на все это». Цикл завершался всегда одинаково: ее решением пойти с белым флагом в клинику пластической хирургии.

«Не дури, Галка, – увещевал он. – Не суетись, а? Потерпи – все будет в срок. Я тут работаю как раз над одной штукой. О! Ты не представляешь... Если получится – это изменит всю геронтологию».

«Да-да-да. Ты все время работаешь над какой-нибудь одной штукой. А я жить хочу!».

«Воот! В том-то и штука, солнышко, что ты будешь жить – в три, четыре, а может и в пять раз дольше».

«Ага. В десять!»

«Это вероятно. Может, и в десять. Просто мы пока делаем скромные прогнозы. Но чем черт не шутит! Тысяча лет – прикинь?».

«Вот счастье-то! Быть тысячелетней старухой. Девятьсот лет деменции и паркинсона. Красота!».

«Ну уж нет, — смеялся он. — В том-то и дело! В том и суть. Мы работаем над омоложением мозга. Нейрогенез — вот ключ ко всему. Панацея. Эликсир вечной молодости».

«Еще лучше, — не сдавалась она, — жить в дряхлом теле с мозгами школьницы. Это мало чем отличается от классического склероза. Только в десять раз дольше. Лучше застрели меня сразу».

«Да нет же, нет. Все не так. Помнишь древний эксперимент над мышами? Грубо говоря, берем старую мышь, молодую мышь и эмбрион мыши. Вводим в медиобазальную область гипоталамуса старой мыши нервные стволовые клетки эмбриона — и в течение двух месяцев у нее возрастает мускульная сила и выносливость, возвращается легкость движений и гибкость костей, отрастает новый шелковистый мех, обостряются все чувства — зрение там, слух, обоняние... А главное — улучшаются интеллектуальные способности. Ты понимаешь, что это значит?»

«А молодая мышь? — спрашивает она, недобро сузив глаза. — Что с ней стало?».

«Гм... Ну, с молодой там... Как бы тебе объяснить. Короче, тут важно что? Важно понять, что в мозге найдены клетки, которые регулируют скорость старения организма. Условно — клетки молодости, так? Волшебные клетки. Когда их много — организм бодр, умен и свеж. Но с возрастом их становится все меньше и ме... — он осекается, натываясь на ее неотступно язвящий взгляд. — А... Ну так вот. Про моло-

дую мышь. Эксперимент такой. Берем ее – и с помощью особого вируса уничтожаем три четверти этих волшебных клеток. В результате – молодое животное начинает катастрофически быстро стареть и умирает гораздо раньше срока. Понимаешь, что это значит? Это значит, что все – вот здесь», – он, сияя, постучал себя пальцем по лбу.

«Это значит, что ты садист».

– Перевернуть в прон-позицию. Интубация. Спинальная анестезия. Креобанк, НСК-ячейка номер пять, код один ноль один. Забор НСК-материала, время доставки девяносто пять секунд, обратный отсчет: девяносто четыре, девяносто три...

Девяносто три. Сейчас ей могло бы быть девяносто три. Леднев часто думал о том, как бы она выглядела. На сорок? На тридцать пять? Или даже на двадцать – как тогда, когда они только начали встречаться... Боже мой, какая же красивая она была! Никогда не встречал таких... Золотисто-рыжие, как бы вспенившиеся кудри. Глаза – берлинская лазурь. И – веснушки. По всей коже веснушки. Словно природа перестаралась, оттачивая этот мрамор, и решила немного испортить, заляпать его, чтобы вышло не так ослепительно.

Но вышло даже лучше. Это известный прием: художники так «оживляют» чрезмерно проработанную картину – брызгают на нее краской, царапают, смазывают детали... как бы маскируя идеальную форму – которая всегда несет в себе знак посредственности.

Да. Галка была ангельски красива, но и только. Ее ни-

что не занимало, кроме неясных грез о каком-то невиданном, только для нее предназначенном счастье. Где-то там, впереди, но уже как будто бы здесь и сейчас, оно ждало ее. Блеск, роскошь, нега, весьма именитые персоны застыли в своих бриллиантах – чего-то ждут. Как чего? Чего еще можно ждать? Королеву бала. И вот она является – в лучах софитов, вся длинная, прозрачная, тягучая – как струя меда, и звезды ей рукоплещут. Но какое может быть счастье, какие звезды, если красота уходит? И с каждым годом – все зримей, все быстрее. Необходимо было торопиться, что-то срочно предпринимать.

– Показатели в норме. Он еще нас всех переживет, – н-да, странно это говорить ассистентам-роботам, да что уж там. – Заживляйте.

Она сбежала от него к какому-то режиссеру сериалов. Оказывается, втайне от Леднева она писала сценарии. Он потом видел эти фильмы... «И очень даже хорошо, просто замечательно, что всю эту кинодрянь запретили», – злорадно подумал Леднев.

– Готово. В палату его. Пусть отморозится. И, ради бога, не пускайте к нему весь этот балет Хачатуряна с саблями.

Галка умерла спустя десять лет. От дочери он узнал, что после пластики «мама подседа на эмбриональную стволовую терапию». Видимо, рассказ о мышах не прошел так даром. Ах, да, он ведь не догадался предупредить, что стволовые клетки от донорских эмбрионов опасны. Впрочем, она

бы все равно ничего не поняла. В двадцатых, когда предел Хейфлика был преодолен и произошел какой-то атомно-реактивный взлет биотехнологий, Леднев наконец нашел то, что искал. То, что когда-то обещал Галке: вечную молодость. Но для нее уже было слишком поздно. И не сказать, чтобы это его расстраивало. Если кто-нибудь участливо спрашивал: «От чего умерла ваша жена?» — он, не без мстительного удовольствия, отвечал словами чеховского героя: «Покрасиветь хотела».

А теперь вот у каждого вельможи есть собственная ячейка в клон-банке. Мы с тобой, конечно, Галка, не вельможи, но не будь ты такой сукой, Галка дорогая, я бы тебе устроил по благу. Как себе. И была бы ты сейчас... ох, какой бы ты была, Галка. Какой бы ты была, девочка моя, рыжая моя девочка... А какой бы ты ни была — это все равно лучше, чем быть мертвой.

12. Вина

Болезнь прошла, и вместе с ней прошла и я – словно меня и не было до сих пор, одно только снование туда-сюда, простое сокращение мышц – мясных, словесных, умственных, то вялое, то судорожное вздрагивание кожи в сцепке с кожей мира, слабый нервный ток... И вот такая рифма, какое совпадение – вместе с засохшими струпьями кори от меня отпала вся моя бывшая жизнь – как заскорузлая омертвелая корка. То, что раньше было мной, так истончилось, что пропускало свет, как папиросная бумага.

Когда меня выписали, одели, напялили на мое неузнаваемо легкое тело мое же неузнаваемо тяжелое кургузое пальто, всунули в руки какой-то сверток барахла и вывели в больничный двор, я зашаталась от воздуха и солнца. Словно из-под ног вдруг выдернул пьяный тамада скатертью-дорогу. Оно понятно: долгая болезнь, лихорадочное выгорание, затхлый изолятор – и вот: открыты двери настежь, а там – весна... Кого не закачает? Куда удивительнее было, что я могу идти. Ступать по жирной сверкающей грязи ногами. Могу шататься от глотка воздуха. Могу дышать. Могу смотреть и видеть.

Я вижу: лужи – дыры в небо, голубые проруби в земле, с перевернутой трансляцией бегущих облаков. Зачерствевший снег в тени, весь в черных оспинах и слюдяных следах.

А на свету – блистающая хлябь, мартовское тимение почвы, сальные разливы с подсохшими краями. Вся земля внутри пронизана зеленой кровью трав, в ней упрямо растет маленькая жизнь сквозь большие мускулы древесных корней. Корни дерева под корой белы, как мясо пресноводных рыб, и скручены, как веревия в сетях для их поимки. Бурая с налетом седины кора ствола, бороздчатая, грубая, с южной стороны облита черным потом, а с северной – покрыта нежно-изумрудным мхом. Ветви прозрачны и коленчаты, как суставы кузнечика. В них течет молочно-сладкий сок. Я слышу, как он течет, чувствую предсмертное напряжение почки. Сейчас она лопнет, выпустит побег.

Вещество мира состоит из колебаний света, вся материя – сверкающая ткань из плотного спирального переплетения радужных нитей.

Я слышу разногласицу биения сердец двух медсестер, что ведут меня через двор по доскам, выстланным поверх весенних топей. Левое стучит легко и мерно. Правое – жадными глотками захлебывается кровью. Для этой женщины уже готова домовина.

Как странно. Завтра она уже мертва, но сегодня все еще жива, идет вот рядом, пахнет вчерашними щами, любимой кошкой, постылым мужем, поддерживает меня за локоть. Это ли не чудо? Чудо, что все мы живы и мертвы одновременно – для вечности нет завтра и сегодня, нет времени, нет будущего, прошлого, сиюминутного – и все одновременно

уже есть, все проявлено в замысле, как в точке, растянутой не в линию, а в глубину себя. Взять хоть этот вяз. Он надолго переживет и этих двух медсестер, и меня. Для вяза нас почти уже и нет, мы в его отрезке времени большую часть просуществоваем в виде костей и праха. Он живет, цветет, благоухает и разбрасывает по ветру свои крылатые плоды там, где я уже давно мертва. Истлела.

– Ты как привидение, – сказала Рита, когда я вошла в спальню. – Худющая! Одни глаза. Эх, мне бы заболеть! Хотя б недельку понежиться в постели – и ничего, ни-че-го не делать... Мечта! А что в мешке? Ну-ка, дай-ка. Девки, это наши гостинцы, домой вернулись. О, а вот и моя коробочка... Что ж ты ее не раскрыла? Ума не достало?

Все стеснились вокруг нас. Коробочка пошла по рукам – ее принялись вертеть и разгадывать. Несмотря на шум и столпотворение, комната выглядела как-то просторнее, чем я ее помнила. Тут только я заметила: двух коек не хватает. Ах да... Таня и Люся... Таня утонула, а Люся... Люсю утопила я.

Я упала на кровать ничком и отвернулась лицом к стене. Если человек лежит в такой позе – кто угодно догадается: нужно оставить его в покое. Кто угодно, только не Рита – она стала меня бесцеремонно расталкивать:

– Эй, кума, ты чего? Дохлым жучком решила прикинуться? Ну-ка, давай, давай... – приговаривала она и зачем-то

принялась выдумывать – это было слышно по ее лукавому голосу – будто администрация школы меня отметила за изрядство и на доске похвалу вывесила.

– Да не, – возразила Марьялова. – Не похвалу, а порицание, и не за изрядство, а за дерзость непослушания...

– И за публичное обнажение головы, – подхватила Усманова.

– Ну, или так, – досадливо сказала Рита, – короче ты у нас теперь герой-девица. Слышь?

Я в оцепенении рассматривала трещины на побелке, которые расходились от серого пятна отколотой краски, и они складывались в рисунок полыньи. Рита вдруг топнула ногой:

– Эй, девки, где Динкина шкатулка, кто заныкал? руки оторву...

В толпе послышалось легкое движение, и кто-то аккуратно положил драгоценную коробочку передо мной на подушку. Этот деликатный жест, и Рита, которая как будто хотела защитить меня от чего-то, заговорить, заболтать всем известную правду – это все было даже хуже, чем если бы они не притворялись, если бы прямо обвинили меня: это ты, ты убила Люсю, из-за тебя, выскочка, герой-девица сраная, она утонула. Пусть бы они меня лучше побили, чем так.

Девчонки разошлись по своим койкам, закрипели пружинами – десять минут до самоподготовки, можно еще поваляться. И Рита тоже плюхнулась на свою кровать, стоявшую рядом с моей, но я чувствовала по напряжению воздуха

между нами, что мыслью своей она все кружила надо мной, выискивая, с какой стороны зайти и достать меня. Зачем? Может, чтобы утешить, приласкать, а может – вывести на чистую воду. А может, и высмеять. Или все вместе – с переходами от одного к другому и третьему в любом произвольном порядке – в одном ее душевном движении могли стихийно сочетаться противоположные импульсы...

– А! – воскликнула Рита, как бы вдруг вспомнив. – Еще, слышь, наградили того парня из 10-го! Как его... Тимур Верясов. За которым ты копыта подожгла – тыг-дык, тыг-дык, тыг-дык, ура! – Все засмеялись. – А? Или как там было? Говорят, что так. Не, ну а что? Я тебя понимаю. Он такой тюн⁷, мррр... Почему-то раньше я его не замечала. А тут такой выходит – на линейке, когда ему медальку вручали «За спасение на зимних водах» – ну просто ах! Походка, кудри, плечи...

– Да уж. Сам не стоит и гроша, а походка хороша, – подхватила Гольцева с каким-то раздраженным томлением.

– А ты что злишься, Гольцева? – уколола Рита. – Грошовый, а тебе не по зубам? – Девчонки захихикали. – И чой-то он не стоит ни гроша? Какая у него категория?

Все стали гадать, наконец кто-то вспомнил, что, вроде бы, самая низкая. Как у меня, подумала я с нежной признательностью судьбе, будто, уравнив нас в категориях, она мне что-

⁷ Тюн (сленг) – красавчик (от кит. – красивый, блестящий, выдающийся, изящный).

то пообещала.

И судьба в ответ тут же рассмеялась.

– Ничего, красотой возьмет, – сказала Рита.

– Уже берет: у него с Оленькой Мироновой безам⁸, всегда при ней на всех прогулках.

– Кто такая?

– Дочка военкома, первая категория. Блондиночка такая, пышненькая, сисястая. Она еще все время слова растягивает, точно зевает.

– А, эта! Хлебобулочное изделие. Ну... Тем хуже для него. Правда, Динка?

– Мне все равно, – выдавила я.

Хотелось провалиться, исчезнуть, стать невидимой. А Рита все не унималась: а все-таки жаль, говорит, что я не видела, как он разделся до портков и Ментора из проруби ташил, вот всегда я пропускаю самое интересное, знала бы – домой бы не поехала в тот день, чего я там забыла – батяню в отпуске? Нажрался как обычно и маманю-дуру за косу таскал, вот диво...

Внезапно Рита запнулась и погрузилась в себя. Как будто резко ветер стих, и повсюду наступил покой. Я почувствовала: все, отпустила, отстала. Только бы опять не закружила, не завела про Тимура.

– А что Ментор, как он? – осторожно потянула я за ниточку другую тему.

⁸ Любовь (чеч.).

– Наложили епитимью – сорок дней сухоядения, и в писари перевели на пятьдесят...

– За что?

– Вот за это, – Рита указала на пустующие места, где когда-то стояли кровати Тани и Люси.

По спальне пронеслось: «Царствие небесное».

– А ведь они обе когда-то моими наперсницами были, – задумчиво сказала Рита. – Недолго, но все-таки...

С Куриленко Таней она ходила до меня. А до Тани полгода не разлучалась с Люсей Городец – их называли «солнце и луна», два небесных тела. А перед ними у Риты была Маша Великанова, но та медлительна и созерцательна, с ней далеко не уйдешь: для Маши всякая травинка, камень, цветок, птичий след, муха в паутине – письмо секретной азбукой, которое необходимо под микроскопом изучить и расшифровать. Зато у Маши есть бесценный дар – молчание, и она не замечает людей: человеческие отношения как бы вынесены за конус ее внимания. Маша – идеальная дихкина.⁹ Наверное, поэтому Рита так долго не расставалась с ней, больше года. Потому что третьим – согладатаем – при ней был всегда какой-нибудь мальчик, сами вызывались, Ментору даже не было нужды кого-то назначать. _____ Но никто из них надолго не задерживался. Только на период

⁹ Дихкина (сленг.) – третий лишний. Ненужная, но необходимая на свидании подруга любимой девушки, которая своим присутствием обеспечивает молчание светляков (от чеч. дихкина – связывающий, связанный).

дружбы со мной Рита сменила четырех. Первый был Борис Лезга – веселый, дяглый парень, рябой как индюшиное яйцо, – и Рита с ним шепталась и смеялась... Второй – Глеб Сухотин, очкарик, победитель математических олимпиад. Третий – Вася Цыганок, коротышка с черными маслянистыми глазами, белозубый, пугающе пылкий, он обрывал для нее кусты школьной сирени, становился на колено, на каждой прогулке клялся в любви, а иногда даже плакал. Теперь вот Юрочка.

– Глупо, – сказала я. – Ментор ни в чем не виноват.

– А кто виноват? – сощурилась Рита.

Я опустила глаза.

– Никто. Давай разгадаем твою коробочку.

– Она твоя.

– Пусть будет наша.

– Ладно, – Рита пересела ко мне на кровать, взяла головоломку, повертела в тонких пальцах. – Самой интересно, что там.

Мы бились над ней три часа, пока открыли. Там было пусто.

13. Мавка

– Что у нас дальше?

– Семицветова Анна Игнатьевна, 67 лет. История: гистерэктомия с последующей ТКВО-РС1.¹⁰ Операция проведена вами пять лет назад. Послеоперационное ведение пациента...

– Зови, – сказал Леднев. – И переведи ассистентов на время приема в спящий режим, они мне сейчас не нужны.

– Вы уверены, что хотите...

– Уверен.

Вошла Семицветова. «До чего ж она все-таки огромна», – подумал Леднев, глядя, как широко и крепко она переставляет страусиные свои ноги, двигаясь к нему навстречу.

– Садитесь, драгоценная моя, садитесь. Прошу. Рад, рад. А вы все хорошеете.

Семицветова сдержанно улыбнулась, сверкнув дорогими зубами.

– А что еще остается, – махнула она рукой. – Статус не позволяет расслабляться.

Белые волосы уложены в четкую скульптурную волну, слегка побитую дождем. Никаких украшений, кроме сапфировых сережек-гарнитур – в тон туфлям и объемной пара-

¹⁰ Трансплантация клонированных внутренних органов репродуктивной системы

финовой накидке, которая сейчас, в тепле, медленно оттаивала до жидкого состояния, обтекая мощные античные статуи Семицветовой.

Леднев выжидательно посмотрел на нее.

Ее глаза ответили «да».

– Итак, – сказал он.

– Что-то меня беспокоит. Не знаю. Может, я придумываю, но что-то как-то...

– Ох уж эта ваша мнительность. Но давайте посмотрим.

– Давайте.

– Но я, как всегда, обязан вас предупредить: вы имеете право потребовать перевести наши линзы в режим невидимости, но тогда вы – понимаете, да? – оказываетесь на все это время беззащитны перед врачебным произволом.

– О господи, Дмитрий Антонович! – засмеялась она басом. – Что за формальности? Какой врачебный произвол? Сколько лет мы знаем друг друга... Разумеется, невидимость.

Леднев кивнул, отправил запрос: «Отключиться от Спутника согласно пункту 153-б о лимитированном праве на врачебную тайну по требованию vip-клиента». Сразу пришел неизменный ответ: «Разрешено» – и таймер на 10 минут. Он не очень-то доверял всем этим «разрешено» – трудно представить, чтобы Комитет сам себе ограничивал контроль из-за какого-то там вшивого пункта в законе о чьих-то там собачьих правах. Но что же делать – других лазеек не было. Тем

более что, вопреки всем его опасениям, за целых два года, пока длится эта авантюра с «профилактическими осмотрами», ни его, ни Семицветову не тронули. Чем это объяснить, он не знал, и перестал беспокоиться. Вероятно, комитетчики и правда соблюдали некие правила игры – исключительно для собственного удовольствия. Ведь это, должно быть, очень скучно – жить, ни в чем себя не ограничивая.

– Что ж, душа моя, – сказал он, с треском натягивая перчатки. – Раздевайтесь и ложитесь.

Она долго копошилась, скрипела – наконец, замерла. Любая женщина – даже такая царица, как Семицветова, – укладываясь на гинекологическое кресло, теряет свою величественность. И все-таки... Все-таки... Эти чудовищно распахнутые, исполинские ляжки... Что-то в этом есть языческое, первозданное. Он испытал трепет, когда заглянул внутрь. Сокровищница моя...

– Только, бога ради, аккуратнее, – прошептала она.

– Не беспокойтесь, я очень, очень аккуратно... Расслабьтесь.

Леднев просунул резиновые пальцы, нащупал канатик, потянул... Семицветова томно вздохнула. Он продолжал тянуть, помогая пальцами другой руки... Она затрепетала, подалась вперед, сдерживая стон... Есть! Вот оно, сокровище! Моя Речная Мавка! Глина, терракотовая глазурь, великий Илларион Супримов, начало нулевых. Моя, моя! Он замер, любуясь.

– Ну, что? – хрипло выдохнула Семицветова.

– Одну минуту.

Он бережно отложил статуэтку в сторону, подошел к настенной полке, где стояла разная декоративная чепуха – как бы для украшения кабинета: стеклянные «магические шары», керамические безделушки и множество всяких шкатулок, в том числе – разных размеров коробки-головоломки, покрытые деревянной мозаикой. Леднев взял самую большую коробку, в 5 ходов открыл ее, достал оттуда зашитый в целлофан «рулетик» червонцев, окунул в стерилизатор, вернулся к Семицветовой и так же деликатно, как извлекал Мавку, просунул на ее место деньги.

– Можете одеваться.

Семицветова пошевелилась в кресле, опять вздохнула и зачем-то сказала:

– Все-таки золотые у вас руки, Дмитрий Антонович... Знаете, а я была бы и не против этого вашего... как вы там говорите... врачебного произвола.

Леднев предостерегающе покачал головой. Воздев указательный палец горе, очертил им круг в воздухе – мол, осторожней: хоть мы и отключили наши линзы, но в кабинете ведется прослушивание.

– Ай-я-яй, Анна Игнатьевна. Вам бы все шутки шутить со стариком, – с нарочитой строгостью сказал он, занимаясь между тем Мавкой: протер ее влажными салфетками, обернул несколькими слоями воздушной бумаги так, что полу-

чился кокон...

– Не сердитесь, друг мой, – Семицветова, тряся перламутровыми телесами, грузно слезла с кресла и зашуршала одеждой. – Не над вами смеюсь, над собой. Скажите лучше, каковы мои перспективы?

– Перспективы самые радужные, – Леднев положил кокон с Мавкой в коробку-головоломку и принялся закрывать ее – 5 ходов в обратном порядке. – Эффект стабильно держится. У вас прекрасный организм, сильный и пластичный, одно удовольствие работать с вами. Хотя, по расхожему мнению, для клиники здоровые пациенты невыгодны, – он сделал последний ход, вернул шкатулку на прежнее место, и в тот же миг зазвонил таймер, оповещая о восстановлении связи со спутником. – Но это миф, предрассудок! – крикнул, проходя к рабочему столу. – Слабые и больные обходятся государству всегда дороже. Всегда! Но вы, дорогая моя Анна Игнатьевна... Я редко видел столь цветущее здоровье. И – красоту! Неудивительно, что до сих пор вы не прибегли к нашей «Кощеевой игле».

– Вы мне льстите, – отозвалась Семицветова, выходя из смотровой. – Ваша волшебная игла мне попросту не по карману. Да и боюсь я, честно говоря. Знаете, все эти вмешательства в голову... Я не хочу вас обидеть, друг мой, недоверием, но лучше уж я останусь собой.

– Вы всегда будете собой. Что ж... – он вошел в базу данных и внес изменения в ее амбулаторную карту. – Вот список

анализов, пройдет за пару дней. Это так, на всякий случай – если пациент жалуется, мы обязаны все проверить.

Исполнив все формальности, они расстались. Леднев откинулся в кресле, закрыл глаза – и только теперь почувствовал дрожь и тошноту под ложечкой. Казалось бы, все уже отработано до автоматизма. А страшно – как в первый раз. Как два года назад, когда все только начиналось.

14. Сквозняк времени

По ночам я вижу один и тот же сон: мне снится Люсина рука на краю проруби, прозрачная и серая, как мокрый лед, – но самой Люси, ее лица не видно. Я вновь и вновь бросаю ей платок: хватайся! Но едва ее пальцы вцепляются в платок, как он превращается в нечто другое, нелепое и бесполезное – то в нитку, то в бумажную ленту, то в каких-то крохотных тварей, разбегающихся врассыпную. Иногда все-таки платок остается платком, она хватается – я дергаю изо всех сил и вытаскиваю на берег... только руку, кисть до запястья – она бежит ко мне, быстро-быстро перебирая тонкими паучьими пальцами, я радостно прижимаю ее к груди – спасена, спасена! – и потом весь остаток сна бережно ношу за пазухой, опасаясь причинить ей какой-нибудь вред, сломать или испортить. Но в самой атмосфере сна что-то портится, нагнетается какая-то угроза – ворочается, томится и вздыхает в тесноте своего еще не явленного бытия, и сердце тоскует, провидя неминуемую беду.

Вскоре после трагедии на Вихляйке в Детском Городе началась эпидемия кори, в школе всех погнали на срочный медосмотр – и тут случилось новое ЧП: взяли невидимку. При сканировании одного из пионеров врачи не засекли сигнала светляка. А на его месте обнаружили свежий неумелый шов – мальчишка выковырял чип и заштопал рану. В одну

руку или таг¹¹ пособил – это уже будет выяснять следствие. Сразу вызвали охрану, и бедолагу забрали. Вывели из кабинета под микитки – птенец взъерошенный, вихрастая голова вдавлена в острые плечики, одежка топорщится, сам еле-еле идет криволапит... Теперь его в карцер дней на двадцать – по принципу: лечить подобное подобным. Хочешь одиночества? На, получи. Безотказно работает. После карцера никто одиночества больше не хочет.

Ну, тут, как водится, пошло бритье голов и шмон на целый день. Пользы в этом ноль, но для порядка надо ведь что-нибудь изобразить – вот, изображают меры. Отобрали, у кого нашли, все острые предметы – перочинные ножи, резцы по дереву, ножницы, стилосы, брадобрейные бритвы – все, вплоть до булавок и чернильных перьев. А чем писать? Чем рожу отрокам скоблить? И дня не проходит, как назад все отдают: да ну вас к лешему, идите хоть зарежьтесь, олухи царя небесного! Или – головы бреют всем ученикам мужеского полу. Ладно, тут есть резон. Опять же, профилактика от вшей. Но для системы безопасности нет разницы, брит затылок или нет. Да будь у невидимки хоть волосы Самсона – систему не обманешь. А начни администрация усердствовать с бритьем голов для перестраховки – выйдет, будто она системе не доверяет, а где нет доверия системе – там жди бунта.

Они всегда попадаются. И все равно эдак раз в три года какой-нибудь чумной режет себе голову в сортире, воображая,

¹¹ Сокр. от «доттаг» (чеч.) – друг.

что уж ему-то повезет, уж он-то хват – возьмет и изловчится, придумает какую-то особенную хитрость, чтобы не угодить под сканер. Уловки не срабатывают никогда – всех выявляют, всех. Некоторые заваливаются уже на первом шаге – вот, говорили, был случай: нашли головореза-недотыку возле унитаза в крови и без сознания. Остальные срезаются кто на медосмотре, кто на контрольной рамке, замаскированной на входе в какой-нибудь кабинет – никогда не знаешь, стоит на входе рамка или нет и включена ли. А самое простое – кто-нибудь заметит шрам и донесет.

– Странно, – шепчет Рита после отбоя. – Почему Воропай не попался? Значит, он не такой, как другие невидимки...

– Угу, – говорю.

– Что «угу»? Так он преступник, значит! Враг. Обучен как-то обходить систему...

– Он просто рептилоид, это всем известно. Инопланетянин.

– Или андроид? – подхватывает Рита, не замечая в моем голосе ойланзы.¹² – Знаешь, говорят, во всяком коллективе есть внедренный киборг, машина, неотличимая от человека.

– Для машины он слегка психованный, тебе не кажется?

– В том-то вся и соль, а? Чтоб никто не догадался.

– Байки это все, – я отворачиваюсь к стене.

– Ну, ты зануда... Что с тобой случилось? Будто подме-

¹² Ойланза (сленг от чеч.) – легкомыслие, ирония, стеб, легкость, несерьезность.

нили.

Молчит минуту.

– Скажи по-честному. Ты злишься на меня из-за Юрочки? Он ведь нравился тебе, да? Динка? Э-эй!.. Ну, точно... Так я и знала. Слышь, но разве я виновата, что все в меня влюбляются... Что мне? Паранджу носить? Ну?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.